

Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры
Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок



МАНСИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Хрестоматия

для учащихся 8 класса
общеобразовательных учреждений

Ханты-Мансийск
2015

УДК 821.511.143
ББК 83.3 Манс
М23

Рецензент:

Динисламова С. С. – кандидат филологических наук

М23 Мансийская литература : хрестоматия для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений / Авт.-сост. Л. Н. Панченко ; под ред. Е. В. Косинцевой ; Деп. образования и молодёжной политики ХМАО-Югры., Обско-угорский ин-т прикладных исследований и разработок. – Ханты-Мансийск : Югорский формат, 2015. – 229 с.

ISBN 978-5-9907303-6-6

В хрестоматии представлены народный фольклор и произведения мансийских поэтов и прозаиков, рекомендованные для изучения в 8 классе общеобразовательной школы. Главная цель хрестоматии – обогатить читательский опыт учеников, расширить круг их чтения. Предназначена для работ на уроках мансийской литературы и для самостоятельного чтения учащимися.

УДК 821.511.143
ББК 83.3 Манс

*Рекомендовано к печати Учебно-методической комиссией
Обско-угорского института прикладных исследований и разработок*

ISBN 978-5-9907303-6-6

© Панченко Л. Н., автор-составитель, 2015
© БУ ХМАО-Югры «Обско-угорский институт
прикладных исследований и разработок», 2015
© Оформление. ООО «Югорский формат», 2015

ШЕСТАЛОВ ЮВАН НИКОЛАЕВИЧ

Если будет Россия...

Словно вдаль улетели сердечные песни,
Наблюдаю вокруг я душевную глушь.
Где, Россия, твои огневые оркестры?!
Заглушите же вопли и стоны кликуш!
Я сегодня от мира тревогу не прячу.
Вижу предков великих суровый укор.
Марш «Прощанье славянки» ликует
и плачет
над полками бесстрашных седых гренадёр.
О, Россия! Встречали народы Европы
И твоих гренадёр, и гвардейцев твоих.
И рождалось желанное чувство свободы,
И хотелось любить этот мир за двоих.
Но познали мы нынче позор и обманы,
И кровавым дождём умывался рассвет.
Распахнулись от гнева душевные раны,
И прощенья за наши мучения нет!
Ветер времени снова зовёт к возрождению.
Штормовая волна много пены несёт.
И говорят чьи-то души от мук и смятенья.
Мать с убитым ребёнком к закату идёт.
В эти тяжкие дни и раздоров и смуты
В нерушимость Отечества верится мне.
Если будет Россия, — запомните, люди, —
Значит, будут и мир, и любовь на Земле.

Клич журавля

Впереди Иисус Христос

А. Блок

Впереди ли?

Ю. III.

Я – Стерх,
Я – Журавль,
Священная птица.
Я плачу –
Внимают мне все колдуны,
Я плачу – шаманю,
Священные мысли
И мудрое слово
В мой плач вплетены.

Сколько мне веков –
Я не знаю,
Но уже давно
Наблюдаю:
Расплодились люди,
Как звери.
Аппетит у них
Неумерен.
Ни на что те люди
Не гожи,
У зверей и шкуры
Дороже...
Люди же без пользы,

Без толку
Рыщут по Земле,
Словно волки.
Воют, галдят,
Суеются
Бога и зверей
Не боятся.
Шум от них
И крики,
И лязг,
Ссоры, безумства дрязг.
На земле от них —
Очень плохо.
Зарычат,
Как те росомахи —
Журавлята мечутся в страхе.
Да и я, хоть редко бывает,
Со священных мыслей
Сбиваюсь.
Высоко не спеть
В этом гаме,
Мудрыми не плакать
Словами,
Небо, ты мой Бог, повелитель!
Космос, вечной жизни
Хранитель!
Что, скажите, делать нам надо
С этим разнуздавшимся стадом?

Я – журавль.
Я – белый журавль.
Люди-манси зовут меня Торыг,
А в мире большом – Стерхом.
Возвеличивают, воспевают,
На тончайших струнах играют,
Призывают меня
 к откровениям –
Последним откровениям
Умирающего Стерха
На умирающей Земле.

А однажды слышу с Неба:
Разнуздались слишком люди!
Так кричат, что Вещим Стерхам
Невозможно выжить тут.
Крикуны лишатся хлеба —
Ведь давно уж воду губят,
Травы сохнут,
Да и рыбу
Люди скоро изведут.
Голод духом злым вселится
В их кричащие желудки,
И дождя они попросят,
Но не будет им дождя!
А когда он всё ж случится,
То прольются тучи ядом,

Ядом
Ядерным
За алчность
Человека наградя.
Лишь песок, гонимый ветром,
Будет там, где было поле,
Всех живых кормилец –
Поле,
Прекратившее родить.
Мор и голод воцарятся
Над калёною пустыней –
Будет соль,
Но этой солью
Будет нечего солить.
Чёрный жир земного чрева,
Что людей веками греет,
Чёрной смертью обернётся,
Всё собою пропитав –
Почернеют мхи и травы,
Шерсть и перья почернеют,
И земное чрево вспыхнет,
От насилия устав.
Пустяковые болезни
Станут вдруг неизлечимы,
И Природа не укроет
Чада слабые свои.
Люди смолкнут безъязыко,
И сожмутся матки женщин,
Не родив детей мужчинам.
Вот как будет.
И! У! А!

Кар-ру! Кар-ру!
Ер-ру! Ер-ру!
Каркает ворон,
Верный хору.
Демократичен,
Настырен,
Проворен –
Косноязычно
Каркает ворон.
Каркает ворон,
Уверен и боек –
Идол свобод
И прораб перестроек,
Новому призраку –
Новые тропы.
Новый бродяга
У старой Европы.
Призрак не тает –
Ворон летает.
Бах! Бух! Страх!
Страх перед вороном,
Страх перед идолом,
Страх перед голодом.
Ах! Ух! Страх!
Кружат вороны –
Голод – пожар,
Ядерный молох,
СПИД,

Кошмар.
Трах! Пух-прах!
Ах! Рух! Крах!
Страшен сражённый
Социализм.
В пушки впряжён
Национализм.
Тысячецветные флаги
Не прячь!
Кровью набух
Перезревший кумач.
В чём моя истина?
Чей мой флаг?
Что мне – опора
И кто мой маг?
Европа?
Россия?
Отечество?
Горбачёвское всечеловечество?
Споры – как горы.
Кровь – как море.
Тонут опоры
В болоте –
Горе.
Программы, прогнозы,
брифинги,
партии, хартии, митинги.
Кажется, цель
В самой борьбе.

Где же опора?
Нигде.
В себе.
Стерлинги, клиринги,
Митинги, брифинги,
Овации и проклятия,
Демонстрации –
Демократия.
Где и почём
Точки опоры?
Схожи лицом
Герои и воры.
Гений – оракул?
Или больной?
Слушать?
Прогнать?
Обойти стороной?
Дифирамбы и диффамация –
Информация.
Информация.
Бух! Бах! Враг!
Слух. Страх. Мрак.
Эй, у власти!
Какой ты масти?
Класс?
Нация?
Или – народ?
Чем измеришь?
Веришь – не веришь,

Вру.
Врёшь.
Врёт.
Редко встретишь теперь
Формала.
Их, формалов,
Осталось мало.
Выплывают сплошь
Неформальные,
Непонятные,
Ненормальные –
Корруппированные
Партораторы,
Цивилизованные
Кооператоры,
Охотники до корней и веры,
Подпольные миллионеры.
Чрезвычайные меры?
Меры! Меры! Меры!
Меры защиты
Свобод и свободы,
Общества,
Мира,
Людей,
Природы.
Меры спасения нации
От СПИДа,
Войны,
Инфляции.

На золотом крыльце сидят
Раб,
Прораб,
Генерал,
Демократ,
Врач,
И больной –
Все хотят
Править страной...
Кар-ру! Кар-ру!
Ер-ру! Ер-ру!
Время прозрения.
Время позора.
Страшно движение
Рас и племён.
Странно рождение
Новых имён
Ультра- и экстра-
-Фанов и -манов,
Глоб, Чумаков, Кашпировских –
Шаманов...
Так ликовать
Или вешаться впору?
Кар-ру! Кар-ру!
Ер-ру! Ер-ру!
Где ты, наш Торум?
Где ты, наш Бог?
Чем нам снился социализм?
Колдовством безумной радости?

Ликованием счастья?
Счастье... счастье... счастье..
Слишком ярко играло,
Слишком резвилось шумно –
Вот и продлилось мало,
Вот и ушло бездумно.
Не уродивши хлеба,
Не разукрасив ягод –
Бликом высветив небо,
Сгинуло лето – на год.
Что казалось прекрасным,
Оказалось бесплодным...
Вот и ищу напрасно.
Вот и ищу голодный.
Рыщу с горящим взором,
Когти рвут корневища –
Ржавой травы узоры
Не обещают пищи.
Злиться на всех, ругаться?
Петь, плясать, веселиться?
Или в чашу забраться?
Да от всего забыться?
Звать людей на подмогу –
Иль отбирать людское?
Может – залечь в берлогу,
Там поискать покоя?
Голод не даст забыться,
Голод – берёт измором.
Может быть – помолиться?

Может,
Поможет
Торум?
Вы, владыки Природы!
Жизнь дающие воды!
Небо, света источник!
Петь нам – или ругаться?
Танцевать – или плакать?
Иль в берлогу забраться
И сосать свою лапу?
Как нам жить на свете?
Я кричу –
Помогите!
Что нам делать?
Ответьте!
Дух наш –
Дух озарите!

Утренняя песня стерха

Я родился
Здесь.
Мир предо мной
Весь.
Я ещё мал –
Гном,
Но буду летать
В нём.
Что там, внизу?
Низ!
Что наверху?

Верх!
Пробую петь —
Писк.
Кто я такой?
Стерх.
Должен я петь —
Ведь
Голос священ
Мой.
Трудно пока
Петь,
Но, Стерхом рождён, —
Пой!
Свет доброты
Прям.
Чист и правдив
Ум.
Счастье я всем
Дам
Правдой своих
Дум.
Только жесток
Век.
Тот, кто силён, —
Прав.
Мутен поток
Рек,
Грязен ковёр
Трав.

Стерху Земля —
Ад.
Птичья судьба —
Нуль.
Людам перо —
Клад,
Жадным не жаль
Пуль.
Бури грозны —
В лоб,
Хочется враз
Пасть.
Застит глаза
Зло.
В душу ползёт
Мразь.
Но не паду,
Нет!
Зло, клевета —
Прочь!
Мудрой Звезды
Свет
Силы мне даст
В ночь,
Крыльям большой
Мах,
Песне больших
Слов —
Чтоб превозмочь

Страх,
Чтоб победить
Зло.
Свет доброты
Прям.
Честен и чист
Ум.
Разум я всем
Дам
Песней своих
Дум.
Я родился
Здесь.
Мир предо мной
Весь.
Мир этот —
Мой дом.
Мне и летать
В нём.

Я уже Великан, но расту
Я расту
Из извечной несказанной
Сказки Земли,
Светозарный и свежий,
Как снег на лету,
Бестелесен, незрим,
Я — вблизи,
Я — вдали.

Я встаю — но недвижим.
Я встать не могу.
В колыбели своей —
 материнском снегу
силу токов земли
 принимаю в себя.
Холоднее, чем лёд,
Горячее огня —
Жизнь Великой Земли
Наполняет меня.
Колыбель моя — снег.
Ощуаю во сне:
Я, как кедр высокоглавый,
Могуч —
Завихрение недр,
Столкновение туч,
Мыслей звёздных разбег
Ощуаю во сне.
Вздогнет космос однажды,
И вздогнет Земля,
И проснусь я —
Героем
Эпохе под стать —
Светозарным и свежим,
Как девственный снег
И могучее всех.
Но смогу ли я встать?

Я не в своей стихии?
Вздор!
От недр Земли
До отрогов гор —
Моя колыбель золотого огня.
Из сказок земных
Возродила меня
Колыбель золотого огня
Я не в своей стихии?
Вздор!
Живителен вод
 родниковых напор —
Их честью кристальной
Вспоила меня
Колыбель золотого огня.
Я спал,
Порожденье воды и огня.
Но час пробужденья
Настал для меня.
Вот кровь забурлила
В артериях рек,
Я спал — Великан,
Я встал —
Человек!
Великан — Человек,
Я возник из глубин
Воздушными стрелами,
Копьями света.

О, Мир так велик!
Почему я один?
Где ты?
Где ты?

Торум!
Наш разум космический!
Бог,
Мир сотворивший
из света и тьмы!
Может быть,
ты объяснить бы смог –
Чем провинились мы?
Ты, Мать-Природа,
Ты, Сорни-най,
Жизнь и детей подарившая нам,
Рыбе в озёрах
И зверю в лесах,
Птице, порхающей в небесах –
Молим – скажи,
Почему сейчас
Страшная кара постигла нас?
Ка-ра! Ка-ра! Ка-ра-юх!
Ух!
Крахом духовным,
Телесным измором
Кара твоя, ох, сурова, Торум!
Ка-ра! Ка-ра! Ка-ра-юх!
Ух!

Мир изменить
Мы имели дерзость.
Клятвою высокой
Легко поклялись.
Но породили
Всякую мерзость,
Что грузом смертельным
Тянет вниз.
Светлое Завтра
Строить мечтали,
А получили
Бурю в лицо.
Поисчезали
Светлые дали,
Мы потеряли
Лучших бойцов.
Мы назывались
Борцами, творцами –
Гордая песня
Про светлую жизнь!
Мы так безропотно
Шли за вождями!
В чём согрешили мы,
Торум, скажи!
Не угодили мы, видно, Природе –
Кара богов не обрушится зря.
Кара – безверье,
Кара – бесплодье,
Кара – бессилье

Детей октября.
Ка-ра! Ка-ра! Ка-ра-юх!
Ух!
Падает птица.
Оборван полёт.
Время стремится
Без нас
Вперёд...

Солнце нам было светилом –
И только.
Небо считали мы
Атмосферой.
Землю и воду
Мутили без толка,
Жили – без веры,
Жрали – без меры.
Мы веселились,
Мы ликовали,
Всё, что хотели,
Без счёта брали.
Мы покоряли Природу –
Гордые!
Вот нас Природа
Об стол –
Да мордою.
Ка-ра! Ка-ра!
Ка-ра-юй-я!
Ух!

Грехи наши тяжки
и страшен недуг –
Мы губим Природу,
давшую жизнь,
Мы телом хиреем,
слабеет наш дух,
Погрязли в корысти,
распутстве и лжи.
О, Торум! Не дай же нам пасть
до конца!
Уйми, успокой наши
злые сердца,
молитвы услышь,
проступки забудь!
Наставь нас, заблудших,
На праведный путь!
Прощением паству свою одари –
И ярость космических бурь
усмири!
Планету большую трясти
перестань!
Жилища сносить в океан
перестань!
Прими покаяние, Боже, прими!
Верни людям разум –
И сделай людьми!

Вчера мне во сне
Рассказала Звезда,
С которой я Стерхом
Явился сюда,
Что жизнь из Земли
Не сразу уйдёт –
Голод наступит
В первый год,
А на второй –
Жажда случится,
В третий –
Бескрылыми станут птицы.
Начнут на четвёртый –
Так может стать –
Прямоходящие
Пресмыкаться.
На пятый год
На Земле опустелой
Не станет гордых,
Не будет смелых.
А дальше – хуже.
А дальше – ужас:
Когда жена
Не узнает мужа,
Прогонит прочь
И сына, и дочь –
Тогда наступит
Ночь.

Синий ветер каслания

Тайга... День идёшь — конца не видно, год идёшь — конца не видно. Только кедры стоят как замороженные, жмутся к земле карликовые сосенки, смотрят в небо лиственницы. Снег слепит глаза. Снег, снег, снег...

И словно всё здесь омертвело, ничего живого нет и никогда не было. Стоят одни деревья, да над ними небо, да вечно сияет снег... И некого спросить, и не о чём вспомнить. Снег, снег, снег...

Так ли это?

Нет! Это только кажется...

Вот стоит обыкновенная лиственница, запорошенная снегом лиственница. Можно проехать мимо и ничего не заметить.

А если остановишься, пристальнее взглянешь на толстый стройный ствол — многое узнаешь.

Всё это на дереве написано. И писали не лось рогатый, и не медведь косматый, и не злобная росомаха, а человек, убивший их.

На стволе фигура зверя: голова, круглая, как луна, короткая шея, туловище и шесть ног. Это медведь. Он хозяин. И все враги удирают от него, как на шести ногах.

Над затеской пять зарубок — значит, было пять охотников. А внизу семь косых зарубок — семь собак было с ними.

А разные метки, что стоят в центре, — это «катпос», знаки руки, личные подписи охотников.

И можно прочитывать, где убит лось, а где росомаха, где было пиршество, а где постигло людей горе...

Край наш не без истории. Только надо смотреть, только надо слушать...

Ты слышал, как шелестит кедр зелёными иголками, когда играет ветер?

Ты слушал хоть раз таёжную музыку? Знаешь ли что-нибудь об оленеводах?

Олень... словно дерево ветвистое растёт на его голове. Глаза его смолистые, ласковые, как у доброго человека.

В них нет ни высокомерия, ни лжи, ни укора. Свет их тёплый и ясный. Они греют оленевода в пургу, дают ему крылья, – и он летит на своей нарте, словно вьюга.

Оленеводы бывают разные. Одни мужественные, как сказочные герои, другие трусливые, как слабые плотвички, мелкие рыбёшки. Таких мало, потому что каслание – кочевье оленеводов – дорога длинная, трудная...

Я был в такой дороге. Кочевал с оленеводами от Оби до Урала. Далеко от Оби до Урала: не семь раз поставишь на пути тёплый чум, а больше; не семь болот надо перейти, а больше; не в семи озёрах придётся попить воды, а больше; не семь дум передумаешь, а больше; не семь раз испытаешь себя, а больше!..

Длинна эта дорога, как жизнь. Трудна эта дорога, как жизнь. Сложна эта дорога, как жизнь! Только в каслании я почувствовал, кто я такой!..

Тебя манят звёзды. Далёкие, таинственные звёзды... Кажется, они низко-низко ходят по синему снегу на тоненьких ногах. Сквозь длинные ресницы они пристально смотрят на тебя.

— Скоро ли к нам? — спрашивают их светящиеся глаза.

И ты летишь... Хорошо!

Но звёзды есть и рядом с тобой. На твоей земле. И часто ты проходишь мимо, не пытаясь даже заметить. А ты можешь, можешь разгадать их тайну! Тайн ещё много-много...

Моя тётя

*Дремлет лес, легко дыша,
В нём живёт, я знаю,
Миснэ; добрая душа,
Женищина лесная.*

Моя тётя. Ты её конечно, не знаешь. Звать её Сана. Она мне кажется странной и интересной. Я спрашиваю её:

— Далеко ли наше стадо?

А она мне:

— Нет, совсем близко!

— А сколько километров?

— Наверное, десять.

— А сколько часов езды?

— Наверное, час.

А стадо находилось в ста километрах. И ехать надо не час и не два.

Сколько километров – ей всё равно. Ей бы ехать и ехать. Только серебристые сосенки мелькают, широкоплечие кедры из-под белых шапок удивленно смотрят, любуясь её вечным движением. И тётя, наверное, тоже ими любитесь. Поёт им тихо песни, здоровается с каждым. И они её от ветра укрывают и в огне горят – дарят ей тепло... Вечная дорога. Тётя к ней привыкла. И сколько километров – теперь ей всё равно. Она – жена оленевода...

Ей тридцать шесть лет. Мы родились в одной мансийской деревне. Росли в одном доме. Она качала мою берестяную люльку и рассказывала мне сказки.

И я засыпал под медленные звуки древней жизни. Вместе с ней катались с высокой горы на ледяных санках. Вместе падали и смеялись, радуясь снегу, ветру и жизни...

Помню, как мы вместе встречали весну. Я маленький, а она уже большая. Сначала солнце пригрело снег. Потом забурлила и запела вода. Посинела река. Медленно зашевелились льдины. А потом река заблестела под солнцем до самого горизонта, спокойная и нежная река. И поплыли по Сосьве калданки с разноцветными вёслами. И тётя Сана пела песню:

Почему летает

Острокрылый стриж?
Лодка-белогрудка,
Ты куда спешишь?
Кто там так умело
Взял весло в ладонь?
Чья рубашка в лодке
Блещет, как огонь?

Она радовалась жизни какой-то новой, непонятной мне радостью. Смотрела на птиц, что-то отсчитывала, тёмные глаза её летели вдаль. Вдруг показалась лодка. Гордым гусем плыла она меж задумчивых берегов сияющей реки. Я помню грустную песню, поплывшую вслед за лодкой:

Лодка, лодка, если б ты
К берегу пристала,
Как бы радостно тогда
Сразу сердцу стало.
Я бы милого друга
Обняла за шею,
Целовала бы его,
Как одна умею.

Лодка, как дикая птица, проплыла мимо... зато с первым снегом прилетели олени. Я помню ночь, сверкавшую, как бусы на груди моей тёти. Светила луна. Деревья спали. И никто не слышал и не видел, кроме меня, как скрипнула сонная дверь, как побежал неслышными шагами колючий морозец, как наклонилась надо мной моя молодая тётя Сана и шептала таинственные слова:

– Он меня нашёл. Я его искала. Уезжаю, завтра скажешь отцу. Прости меня. Нас ждёт дорога...

На моём лице горел поцелуй. Приоткрылась дверь. В лунном свете видел я, как выходило тепло из нашего дома, как плясали морозные струи. Потом прозвенел снег. И всё замерло. И мне было больно и радостно, и смеялся я, и слёзы текли...

Утром долго гадали в доме: куда она делась? А я молчал, как дерево. И был горд её доверием. Просмотрев вещи Саны, отец начал понимать.

– Кто он, наш зять? Каков собою? – спросил он.

Я сказал, что «он нашёл её»...

И улетели они на оленях...

Стало всё ясно. Оленеводов в колхозе не так уж много. Конечно, только самый удалой мог так ловко украсть Сану, мог увлечь сердце девушки.

Никто не шумел, никто не бранился. Времена теперь другие. Сами виноваты. Не поняли Сану.

Зима. Ночь. Сухой, приятный, пахнущий кедром морозец. Тишина. Всё спит: и дома, и деревья, и снег. Даже чуткие собаки и те не заскулят, словно их нет.

Ночь. Нельзя тревожить её волшебное спокойствие... Это понимает даже собаки. Но молодые манси и ханты с древних пор почему-то старались нарушить это спокойствие. Девушки убегали ночью из родительского дома. Их увозили на лёгких калданочках по сверкающей глади Сосьвы и средь

бурных волн Оби, увозили на быстрых оленях
среди пляски снега.

Почему ночью? Может быть, потому, что в старину ночью не надо было платить калыма. Убежала – и всё. А может, ночью просто красиво. И звёзды на снегу, и на луне, кажется, целуются двое, и даль – она зовёт и манит, и люди – особенные, и олени бодают небо, и звёзды меж рогами пляшут, и сердце летит...

Так моя тётя Сана стала женой оленевода – молодого ханты Микуля, так стала она вечной кочевницей.

...Вчера тётя Сана с мужем приехали из стада в деревню. С недельку они поживут в своём доме. Будут собираться в большое кочевье. А потом опять уедут на семь-восемь месяцев, будут весну, лето и осень кочевать в предгорьях и горах Урала.

Вечером все родственники собрались вместе. У южного угла дома убили оленя для пиршества. По обычаю, на этом месте были одни мужчины. Вун-ай-ики бормотал что-то непонятное. Кружками и стаканами с наслаждением пили свежую кровь. Голову оленя сразу отдали варить. А сердце, печень и лёгкие, разложив на две большие тарелки, подали на стол. Там уже стояли две бутылки спирта. Они были ещё не раскрыты.

У стола хлопотала тётя Сана. Она укутана от головы до пят в сиреневую шёлковую шаль с переливающейся бахромой. Что было в её глазах:

светилась ли ласковая улыбка, искры злобы ли сверкали или просто равнодушие застыло в них – никто ничего не видел. Лицо её закрыто шалью. Лишь сквозь маленькое отверстие между складок ткани она видела кого и что ей нужно было. Особенно она сторонилась Вун-ай-ики – дяди Микуля. Он, по поверьям манси и ханты, не должен был видеть лицо невестки.

Мне было странно. Ровесницы Саны, Матра и Олена, которые тоже были должны закрываться, сидели с открытыми белыми лицами, весёлыми глазами смотрели на древних дедов, подмигивали парням, будто они лоси, играли острым словом, улыбкой убивали...

А моя тётя Сана, Вун-ай-ики, Микуль и Яныг-турпка-эква говорили тихо, почти полушёпотом. Лица их торжественны, движения осторожны, а в глазах тайна.

Ловким ударом Микуль открыл бутылку спирта, стакан наполнил, сказал:

– Найт-отрыт, хоть на мгновение приблизьтесь к нашему праздничному столу.

На столе стояли большие чаши. Ароматным паром дымилась голова оленя, разрубленная на куски. Из одной деревянной чаши смотрели глаза рогатого. В другой лежал его язык.

Восторженные лица; плавные движения, таинственный полушёпот наполняли торжественностью мансийский ужин. Кажется, стол расширил-

ся, кажется, дом расширился, кажется, весь мир огромный сегодня в этом доме.

Кажется, над этим паром, что чуть не светится радугой при тусклом электричестве, выются наши боги, в которых верит моя тетя, в которых я не верю.

– Ойнга-писинга! Счастья-удачи! – Звенят стаканы. – Ойнга-писинга! – Пьют одни мужчины. – Ойнга-писинга! – Пьют уже и женщины. – Ойнга-писинга! – И я пью вместе со всеми.

Вдруг тетя Сана, словно испугнутая куропатка, сорвалась со своего места и наклонилась к Микулю.

– Ты, как эти деревенские, тоже все забыл. Надо бы сначала подняться вам на крышу и отнести шайтану, хозяину нашего дома, дымящиеся глаза оленя, да хотя бы чарочку пылающей воды. Все забыли. Накажут нас за это шайтаны, – шептала с дрожью в голосе встревоженная тётя.

– Ийсынга-нотынга! Века вечные жить! Да ладно с этими шайтанами. Если шайтаны хотят быть с нами – пусть спускаются к людям, гостям всегда мы рады, стол ваш для всех накрыт.

– Ийсынга-нотынга! – Звенят стаканы, хрустят кости. – Ойнга-писинга! – Вкусные глаза.

– Ийсынга-нотынга! – Целуются женщины.

Играет санквалтап.

Эй, «Куреньку»¹ заиграли –

¹ Куринька – женский танец манси.

Все поджилки задрожали.
Пляшет девушка, смеётся,
Как налим, скользит и вьётся.
Ноги гнутся в рог олений,
И плывет, что гусь весенний,
Скачет, как лесной лосёнок...
А напев-то звонок, звонок,
Санквалтапы в звоне, в звоне,
Бей в ладони, бей в ладони!
Пляшет, как в медвежий праздник,
Всех напев крылатый дразнит,
Пляшет, пляшет платье-пламя,
Так и плещет языками,
Чтоб глаза у всех пылали...
Где такое вы видали?
– Ийсынга-нотынга! – Льются песни.
Тётя поёт.
– Ийсынга-нотынга! – Играет уже и радиола.
Молодёжь танцует. И тётя танцует «Куриньку».
– Ийсынга-нотынга! – Богов забыли...
– Ойнга-писинга! – Мы просто живём...
...Утром разбудил меня возбуждённый голос
тети:
– Эти люди совсем уж заплутались. Кто это их
щекочет, побуждает к дурному? Вон, смотрите,
Татья на коне верхом несётся. Женщина на чистое
животное залезла. До чего дожили!..
Я взглянул в окошко, Размахивая плетью, на-
клонясь вперёд, как настоящий охотник, гоняю-

щийся за лисицей по свежему первому снегу, несётся верхом комсомолка Итья Татьяна — конюх колхоза. Она, видимо, погнала молодых коней на водопой. Погода за ночь резко изменилась, подул север, разыгралась вьюга, и жеребята не хотят идти навстречу летящему снегу и ветру, их так и тянет назад, к тёплому конному двору. Но Итья Татьяна (недаром зовут бесстрашной) словно летает на своём тонконогом воронке, и жеребята вынуждены ей подчиниться, они рысцой бегут к водопою.

Тетя Сана возмущалась её поступком, жители деревни уже давно привыкли к этому. Правда, даже мне, учителю, окончившему институт в Ленинграде, сначала как-то. непривычно, странно. было. видеть мансийку верхом на лошади.

Но я рад за Итью Татьяну: она победила!

Тётя Сана, наверно, ещё не знает, что ей придется жить в одном чуме с этой девушкой: позавчера у нас было комсомольское собрание, на котором решали, кого из молодёжи отправить пастухами в оленеводческое стадо, и, к общему удивлению, первой откликнулась Итья Татьяна.

Из парней никто не изъявил желания стать пастухом. Пришлось обязать комсомольца Ларкина. Он недавно вернулся с армейской службы, больше толка от него будет — так решили мы.

Организатором просветительной работы решил поехать я. Надо молодёжи брать в свои руки древнее наше хозяйство. Недостаёт людей. Одни

болеют, другие показывают на белую голову: мол, и глаз не тот, и ноги не те, хорей дрожит в руках, и тынзян летит не туда, а стадо большое, а волки злые, а дорога на Урал бесконечная, а сам Нёр, Камень-Урал, высокий. Вот и обратились колхозники к комсомолу. Мы решили. Теперь дело за общим колхозным собранием...

Мне жаль мою тётю. Живёт по старым обычаям и законам. Закрывает лицо платком от родственников мужа, не поднимается на крышу дома, верхом на лошади, как Итья Татьяна, не проскачет, над вещами мужскими не пройдёт. Она верит в Сорни-най – Золотую женщину. Лес для неё живой, населённый духами. Есть духи злые, от них зависит многое – так думает она. Но есть в лесу и добрая лесная женщина – Миснэ.

Я говорю тёте, что это сказка. А она:

– Нет, правда. Миснэ не сказка, её много раз видели люди, много добра она им сделала. Да, вот я тебе расскажу историю...

Это было во время войны. Тогда не только хлеба было мало, но и зверей в лесу словно кто-то сглазил, и птица не шла в ловушки, и не ловилась рыба. Однажды мы весь день неводили – и поймали только одну щуку да мелочь разную. Щука, правда, была крупная, но до того старая, что росла у неё борода и глаза позеленели.

Уже звёзды зажглись, когда мы повесили невод. Был холодный осенний вечер. Мы продрогли

до звона в зубах. Развели костёр. И скоро была готова уха. Поели, попили чайку. И тепло, как в летний вечер, стало. Погуляв немного, начали устраиваться спать в пологи, в шалаши из просушенного сена. В бригаде было пять женщин: мужчины на фронте. Я уже легла... Устала и от воды, леденящей руки, и от тяжёлого невода. Другие ещё копошились у тёплого костра. Вдруг раздался чей-то крик: «А щуки нет в лодке: кто-то утащил!»

И не слышно стало, как трещит костёр, как у берега струится говорливая вода, – все наши женщины заговорили, застрекотали, будто птицы ронжи, когда на кедрах поспевают шишки. Самые тяжёлые слова кидали друг в друга. Вспоминали пороки отцов и матерей. Бабушки в гробах, наверное, перевернулись: стыдно было им и за себя, и за таких внучек. Куда тише тайга, даже когда глухари токуют, когда стонут деревья от острых клювов дятла или когда из чащи несётся зычный голос филина. Ругани не было конца...

...Вдруг из лесу, что тёмным зверем чернел на мысу реки вышла стройная высокая женщина. Глаза её чёрные-чёрные, лицо её белое-белое. Одета она была в мансийскую шубу с яркими узорами и колокольчиками. Шла она по густой траве, покачивая головой, недовольная руганью: «Чего вы соритесь из-за какой-то одной щуки, разве она стоит ваших добрых сердец? Вот настанет утро, и

если вы будете дружны и добры друг к другу – добудете много-много рыбы...»

Сказала – и растаяла в голубом лунном свете. И всё вдруг поголубело: и лица женщин, и звёздное небо, и лунная река...

А утром мы действительно поймали много-много рыбы: лодка была полной, даже невод пришлось оставить в воде.

Вот как бывает, зря ты говоришь, что нет на свете Миснэ. Так взволнованно, так поэтично!

... Миснэ, кто она такая? Ты, конечно, не знаешь. А знал бы, если бы скользил по склонам Камня-Урала, вросшего прямо в небо, если бы спал под снегом длинной таёжной ночью, что длиннее самой плохой дороги, если бы бродил между кедров и лиственниц, таких высоких и белых, что не проникает сквозь них зимнее золотое солнце, только лучи его скользят яркими пальцами на серебристых вершинах могучих деревьев. А под ними таинственно и тихо, не хрустнет снег, не шелохнётся ветка. Лишь ели, да кедры, да небо, да снег, снег, снег без конца и края.

Тебе может показаться, что в лесу совсем нет жизни. Но это не так; идёшь, идёшь – и вдруг с ветки сыплется серебристая радуга: то белочка щёлкает кедровые орешки. Она их нанесла в своё тёплое гнездо ещё осенью.

А что это за снежный вихрь среди безветрия, на синем морозе? Это с гулом и шумом взлетел

старый глухарь. А вот здесь волк протащил свой хвост по снегу, а под этим кедром резвился соболь.

Есть жизнь в тайге.

А вечером, когда разожжёшь костёр на хрустящем, как сахар, снегу и посмотришь на деревья, тебе покажется, что они ожили, зашевелились ветки, от тепла людского вдруг зашептали... Шепчут сказки и навевают сны. Ветки деревьев и хлопья снега укрывают снежной шубой человека. И он засыпает... Деревья своими вершинами смотрят в небо, разговаривают с ним. И на небе появляется большеглазая луна.

Она освещает голубым светом все деревья, чтобы человек даже ночью мог видеть и крадущихся волков, и злых духов великанов Менквов, и добрую лесную женщину Миснэ.

Луна сияет, стоят деревья на страже, как старые верные воины, в руках их пляшут белки на заре, скачут горностаи, сидят очкастые глухари, и поют маленькие лесные птички.

Сияет луна, стоят деревья... А ты спишь и ночью тебе обязательно приснится Миснэ. Ещё днём, когда ты шёл, ты, наверное, заметил, что недалеко от ночлега лес особенно тёмный и густой. Там стройные лиственницы уходят за облака, плечистые кедры обнимают землю так, что не видно неба. Там мало снега – весь он на густых ветвях. Туда не проникает озорной шалун – Луи-вот-пыг,

сын северного ветра. А сам дедушка северный ветер, коль дерзнёт войти, сразу теряет свой холодный длинный нос. Этот дремучий лес – дом доброй лесной женщины Миснэ.

Ходит веточки стройней
Где-то в снежной дали.
Шубка вышита на ней
Птичьими следами
Пусть ни солнца, ни лучей
Воет выюга злая,
А у Миснэ из очей
Льётся ласка мая.

– Если бы ты всё это испытал, к тебе обязательно пришла бы Миснэ, – говорит тётя, – как приходила ко мне в детстве.

Какая древняя сказка! А моя тётя Сана верит в неё. Попробуй, докажи тёте, что это сказка!

Но и она, смешная моя тетя, очень хочет разгадать тайну говорящих крючков и много других тайн. Однажды, по дороге в чум, под грустный скрип полозьев, она мне спела песню про жизнь, про свою мечту.

– Вот возьмёшь газету, большой лист бумаги, – пела она в песне, – какие-то крючки с тобой заговорят словами такими мудрыми, что одним умом ты увидишь мир, невидимый моему глазу. Для меня просто бумажка, для тебя – говорящая. Я словно немая, без глаз, а ты с четырьмя глазами. Когда учился ты, я хотела в город к тебе съездить,

но как найти тебя без глаз? О, как хотела быть такой же, как хотела я учиться! — пела тётя со слезами в голосе.

А потом тётя Сана рассказывала мне, как всё случилось. Это было в тридцатых годах. Молодые учительницы-комсомолки, отважные русские девушки, ездили по мансийским и хантыйским стойбищам, собирая детей в школы-интернаты. Родители, не понимая смысла учения, отдавали детей в интернаты с неохотой. К тому же шаманы распространяли слухи: «из детей северян готовят слуг чертей». Тогда были уже культбазы. Шаманы переиначили это слово.

Слово «куль — по-мансийски чёрт. Культбаза — «чёртова база», так растолковали шаманы это слово. Этого, конечно, уже не рассказывала тётя Сана. Я это знал сам.

Но она поведала мне, как за ней приезжали ласковые, настойчивые учительницы, как они беседовали с родителями, а потом увозили её в интернат. Там она и по палочкам считала, и узнала несколько букв. Но вдруг появились родители и тайком забрали маленькую Сану. Снова приезжали настойчивые учительницы, снова что-то доказывали, родители наконец соглашались и отдавали им дочку. Но через недельку они опять приезжали и втихомолку увозили обратно.

Так повторялось несколько раз.

— Надо было качать, нянчить тебя, плаксивого, — кивая на меня, с нежной грустью укоряла тётя Сана. — Если бы не ты, я, наверно, была бы тоже другой. И не разговаривала бы только с одними кедрами, не надеялась бы на одних оленей, не жила бы тогда в чуме, с тобой умела бы спорить, и других по книгам, может быть, учила, и не смотрели бы на меня, как лоси, свысока...

Эх, моя тётя Сана!.. Как она не похожа на своих ровесниц, Матру и Олену, и словно на целое столетие старше Итьи Татьи и всех других девушек и женщин нашей деревни Аргинтур.

Почему тётя Сана так отстала от других? В деревне в каждом мансийском доме сияют маленькие зимние солнышки — электрические лампочки. Их зажигает Миша Неттин — электрик колхозной электростанции. Зимой целыми днями не умолкает гулкая песня тракторов, а летом — моторных лодок. Вечерами в большом и светлом клубе после трудового дня вся деревня смотрит кино, слушает лекции, песни поёт, танцует. А в просторных классах школы сидят за мудрыми книгами утром юркие дети, а вечером их старшие братья, матери и отцы. И каждый знает, что крылья даёт человеку учение.

...А удел моей тети — оленья нарта и бегущий снег, снег, снег... В руках у тёти Саны хорей, а не книга. Олени бегут, бегут, бегут... Вечером она ставит чум, утром убирает его — и опять в дорогу.

Олени пощипывают ягель, как тысячи лет назад. Вместе со стадом движутся древние сказки. Тётя Сана их шепчет... А я? А мы?..

Нет. Так дальше нельзя. Надо идти в оленеводство нам, комсомольцам.

Первое утро

*Звёзды падали, звенели,
Крался луч луны.
Ах, какие в той постели
Виделись мне сны!*

Светит яркое-яркое солнышко. Светит жаркое-жаркое солнышко. А я купаюсь в ледяной воде. По спине скользят холодные струи. Барахтаюсь. Тёплый песочек близко-близко. Ещё одно усилие – и я на берегу. Ещё одно усилие – и опять со мною тепло. Я барахтаюсь... Я просыпаюсь...

Где я? Во рту ощущаю оленью шерсть – я укрыт шубой тёти Саны, лежу на мягком – оленья шкура. Над моей головой серый сумрак – это тоже шкура, гладкая, посеревшая от времени. Я рассматриваю её. Она наклонно убегает от моего глаза, всё выше и выше... Наверху я вижу синий узор. Это на связанные чёрные жерди наброшен лоскуток синего неба. Где я? Я в чуме.

Рядом со мной кто-то похрапывает... А, это Микуль, рядом – тётя Сана. Головы наши лежат на одной белой парке. У нас одна постель. В ногах шевелится что-то тёплое. Это Питюх – собака моей тёти.

У моих ног высится что-то тёмное, горбатое. Я вглядываюсь в серый сумрак и смутно вспоминаю вчерашнее щедрое тепло железной печки.

Вчерашний день... Он был слишком длинным и коротким. Долго собирались, прощались, пили спирт, пели песни, плакали, целовались... Такого длинного дня и такого короткого мгновения, полного впечатлений и разнообразия чувств, я ещё не знал... Сегодня тяжело. Какая-то пустота в душе и сердце. Кажется – всё в прошлом. Кажется – всё в будущем. Сквозь связанные жерди смотрят на меня бледные звездочки. Греет мои ноги свернувшийся в калачик Питюх. Горбится посередине чума холодная железная печь.

«Зиуз, зиув, зиув, зиуз!» – звенит в ушах, звенит на улице. Что это такое? Это звенят не звёзды – звёзды весною тихие. Это звенит не луна – она весною мягкая. Это звенит морозный, весенний снег: олени, наверно, подошли к чуму, под их копытами поёт снег. Это новая для меня песня. Долго ли придется мне её слушать? Полгода, восемь месяцев... Каждое утро по спине будут скользить холодные струи, сниться жаркое солнышко, тёплая постель... Каждое утро будут глядеть на меня звёзды, звенеть за чумом снег, и этот однообразный скрип будет будить меня и напевать раздумья. Мне холодно и одиноко. Не вернуться ли сегодня, пока не поздно, назад, не заняться ли привычным делом?

Лёгкий озноб прошёл по спине, побежал к ногам, потом вернулся и остановился где-то около сердца. Холодно-холодно стало. Я натянул на голову шубу, стараясь надышать тёплого воздуха. В это время Питюх отодвинулся от моих ног – и стало ещё холоднее. Шуба была тёплой. Но она не прилегала плотно к спине. Вздываясь. Из-под еловых веток, под которыми царствовал снег, ползли струи холода. Невидимые, они подбирались к ногам, к спине и сердцу... Я приподнял голову. Стало светлее. Вон я уже вижу потёртую шубу Окры. Под ней спят, наверно, Окра и Ай-от. Рядом с ними ночная люлька. В ней спит их сынишка Маньпыг. Где-то среди шкур должна быть и дочка Мань-аги, что постарше года на два. Подальше ещё кто-то спит прямо на малице. Это, наверно, Ларкин. Вчера было жарко от железной печки, и он приговаривал: «Я всё кочевье буду спать на малице, а не в малице. Все говорят, что чум холодный. А здесь жара... Испечься можно...» Ларкину, может быть, и жарко, а мне холодно. Я отыскал свои белые кисты, подаренные тётей. Они тёплые-тёплые. В любой мороз ноги как в печке, А сейчас натянул одну – ледяная-ледяная, натянул другую – такая же. Ещё холоднее стало. В снежной яме спал – там теплей было. Может, не надо было раздеваться. Но если так всё время спать, то тело не подышит, не отдохнет как следует. А может быть, этот холод – только сон? Ведь

остальные спят спокойно: и дети, и взрослые. Даже не шелохнутся, как листья, когда нет ветра. А может, это просто с непривычки? Ладно, поживём – увидим!..

Меня удивил сонный чум. Ещё два десятилетия назад в центре пылал костёр, дым которого выходит прямо в отверстие. В некоторых чумах до сих пор царствует костёр...

Чум спит. Люди спят. Их головы лежат словно по окружности. А сами они будто радиусы, тянущиеся от окружности к центру. У всех ноги сходятся у печки, у центра. Удивительно, ни один не лёг головой к печи. Даже я, и то почему-то лёг, как все. Странная геометричность спящего чума немного отвлекала меня, и я забыл про холод. К тому же я ведь не ледяная сосулька – ноги отогрели тёплую шерсть кисов, стало отогреваться и пальто. И я задумался о другом. Вот передо мной лежат люди, которые, может быть, каждое утро испытывают эти же ощущения и не замечают их. И не философствуют. А я почему-то философствую и возмущаюсь. А они нет. Разве они не люди? Нет, они такие же, как я и все. Мечтают, ненавидят, радуются, плачут, поют песни, любят, страдают, восторгаются... Я пришёл к ним не с луны ведь. Во мне течёт та же кровь, что у них. Мой детский язык впервые пролепетал те же слова, что и они произнесли впервые. На одном языке нам пели песни наши матери. Мы – люди одного пле-

мени. Так почему меня возмущает этот чум, этот холод, это неудобное, промозглое утро?..

Бег моих хмурых мыслей прервал внезапный плач ребёнка. Серая шуба с потёртым орнаментом зашевелилась, и вынырнула лохматая голова Ок-ры. Она наклонилась к ребёнку. Но голос самого маленького человека уже возвестил всем остальным обитателям чума наступление нового дня.

— О, долго спали сегодня, — поднимаясь с постели, громко произнёс Микуль. — Белый день уже в чуме. А ты уже оделся? Совсем как оленевод. Что ж ты нас не разбудил? Или хотел один погнать оленьё стадо на Урал? Ничего не выйдет! У нас вон есть маленький вещун, он о любой опасности предупредит, — отстукивал слова Микуль. — Да, я совсем забыл. Ты ведь не оленевод, а учитель. Понятно. Ты как наставник решил показать ученикам пример. Хорошо!..

Я, убитый холодом, хмурым видом чума и своими ненастными мыслями, молчал. В эту минуту я, наверно, был смешон...

Между тем все встали: Итья Татья, и тётя Сана, и Ай-от. Тётя Сана копошилась у печки. Вот она берёт сухие, приготовленные ещё с вечера лучины. Чирк спичкой — и вспышка падающей звезды в руках у тёти. Мгновение — и она держит луч солнца. Ещё мгновение — трещит железная печь, через щели дверцы летят искры, и уже струится мягкое, нежное тепло, без которого чум будто хо-

лодное подземное царство. И совсем другой покажется жизнь, когда пред тобой возникает, как в сказке, столик.

...На столике железная зелёная чашка. В ней хлеб нарезанный, сухарики, печенье. А у столика уже улыбается Мань-аги. Глаза её синие, как солнечное небо, тоже улыбаются. Косички её, до пояса, с кольцами, с блестящими железками, сплетённые шерстью в две веревки, прыгают, звенят.

Мань-аги, маленькая девочка, почему так ласково все тебя зовут? Может быть, потому, что только ты проснулась – не стал я видеть чума холодного, забыл свои мысли хмурые. Ты лепечешь и играешь – сердца у всех теплеют, ты лепечешь и играешь – жизнь звенит в чуме!

Мань-аги улыбается: видно, что-то вкусненькое ждёт. В стороне от чума, куда печь смотрит железной решетчатой дверцей, зашевелилась шкура: в чум вошёл Ай-от. Он что-то несёт. Вот он садится к столу, скрестив пред собою ноги. Берет охотничий нож, и на стол ложится тоненькими стружками вкусная-превкусная, мёрзлая-премёрзлая печень оленя.

Самая тоненькая стружка уже в руках у девочки, купается в соли, насыпанной на стол, и тает на её губах... Тёмно-красные стружки печени пляшут и в руках Ай-ота, и у Окры...

Мне тоже захотелось вкусной мёрзлой печени... А вот и тётя Сапа. Она несёт в руках то, что мне сейчас увиделось, что вдруг я захотел. Ми-

куль, я и тётя садимся за свой столик. Микуль приглашает за стол Итью Татьяю и Ларкина. Оба они какие-то хмурые, не похожие на себя. Наверно, они так же, как и я, приуныли. И всё утро, наверно, думали длинные думы. Может быть, и они уже сожалеют, что сменили привычную, уютную жизнь в деревне на холодный чум?

Но стружки тёмно-красной печени тают на языке. Кажется, просыпается в теле каждая жилка – так вкусно! И всякие мысли – и летающие на лёгких крыльях, и бредущие тяжёлыми шагами – исчезают, как тени. И этот низенький столик кажется самым богатым: ведь на нём сегодня лакомство богов. У жителей деревни – у рыбаков и охотников, трактористов и доярок – такой стол бывает не каждый день. А у оленеводов... другое дело. С ними олени... Глаза у Ларкина стали острыми, веселыми. Ожила, словно рыбка в воде, Итья Татьяна. Потеплел и я. Стал уютным чум. Улетели ненастные мысли. Мы уже просто наслаждались! Печени одного оленя нам не хватало. Тётя Сана принесла ещё кусок. Потом долго тянули чай из блюдец, круглых, как луна. Один чайник выпили – не хватило. Тётя Сана поставила второй. Огонь пылал и трещал, кажется, ещё задорнее, словно он стремился быстрее вскипятить чай и утолить нашу жажду. Мы снова пьём крепкий и пахучий напиток, вкуснее которого никогда я не пил...

Говорим ли мы? Наверно, говорим... Говорит чай, говорим и мы... О чём поют звуки, слетаю-

щие с уст, вплетающиеся в пар над блюдами? Они поют, наверно, о сегодняшнем дне, об оленях... О чём же говорить ещё оленеводу?

Вот какое ты, первое утро нашего большого кочевья. Ты нашептало мне многое-многое. Я даже не в силах сразу разобраться. Сначала мне всё показалось холодным, странным, диким, словно я из другого мира... А потом всё вдруг потеплело, стало близким и даже чем-то родным. Кажется, дышал я тысячу лет этой жизнью кажется и совсем не жил я. И не хочется видеть всё это, как в детстве не хотелось видеть волка, и хочется, как во сне, очень хочется. Так что же это такое? Как объяснила бы тётя Сана? Может, Танварпэкwa – старуха, делающая нитки из мальчишечьих жил, – ночью нащекотала мне дурные мысли, а потом Миснэ нашептала добрые сказки? И потому чувствую себя так, как будто текут во мне две бурные речки. Но я ведь древним сказкам уже не верю. Не знаю, что это такое. Только это было не в сказке и не век тому назад – это было во мне и в первое утро нашего каслания.

Полёт оленей

*Голубого снега стрелы
Вьются под копытом белым.
«Вий-ю, вий-ю!» – ветер злится,
«Вий-ю, вий-ю!» – нарта мчится!*

Нет весны ослепительней, чем северная весна!.. Солнце светит с сосен, с белых шапок кедров, каждая снежинка ярче солнца светит, ослепляет

радугой, – глаза мои слезятся... Под ярким взглядом солнца стал мягким-мягким снег, он не хрустит уже, и он не звенит уже под копытами оленей, как утром, когда было небо тёмно-синим...

Не успел я коснуться снега руками, не разглядел как следует поляну, над которой чум наш выдыхал голубой дымок, а олени были уже запряжены. Микуль берёт хорей – шест тонкий, сияющий, и мы садимся в нарту. Впереди Микуль, а я за него держусь. Рванулись олени от страстной пляски хорея, и мы помчались.

– Иу-иу-иу-иу-и! Иу-иу-иу-иу-и!.. – поёт Микуль. – И-и-и-и-и-у-у-иий! И-и-и-и-и-у-у-иий!..

А хорей всё пляшет, пляшет! А собаки всё лают, лают! Рядом с нартой летят, летят... Копыта оленей в снежном тумане, тумане... Мокрый снег слепит, слепит глаза... Ветер поёт, поёт в ушах!.. Кедры пинают, пинают нарту... Я прячу ноги... Дорога узкая, узкая, узкая... Деревья летят, летят сквозь нас!.. Олени в тумане, в тумане... Становлюсь я ветром, ветром... Становлюсь снежинкой, снежинкой... В снежном вихре кружусь, кружусь... Мимо скользят, скользят нарты. Скользнул хореом Ай-от... Скользнула улыбной Татьяна... Гогот гусиный растаял в радужном снежном тумане – это смеялся Ларкин.

...В глаза мне глядело небо спокойным глубоким взглядом. Неподвижно, как идола, стояли вокруг деревья... Рядом со мной лежали тихие синие

тени... В уши мои стучалась немая тишина...
Всё замерло, всё онемело... А мгновение назад
был я порывом ветра, и вокруг меня всё вертелось,
искрилось, летело... Полной грудью вдыхал я
жизнь. И не знал я цену счастью...

Вот так бывает в жизни: летишь, летишь – и
свалиться, коль поворот попадётся круче, коль
держишься за чужую спину, коль счастье жизни
создаешь не своим умением...

...Нет, не всё замерло и не всё онемело. На ли-
це своем я почувствовал движение – это таяли
пушинки снега. Тоненькие ручейки бежали по ще-
ке, сползали к подбородку, подбирались к горлу.
Вот один ручеек – наверно, самый юркий – проник
за тёплый воротник и щекочет, щекочет, стараясь
согнать с меня безразличие.

Море солнца, детство без мучения

Получило наше поколение.

До того уютно нам живётся,

Что иной уж и не ценит солнца...

Тишина растаяла, как тает облако в сини не-
ба, и я уже слышал, как где-то вдали скрипят по-
лозья и стучат копыта... Это Микуль возвращался
за мной. Он загадочно улыбался.

«Ну как, понравился полёт на оленях? Что ж
ты не встаёшь? Или ушибся? Ничего, с нами бы-
вает не такое. Всё впереди, на Урале. Ещё не такие
там будут полёты. Нам, может быть, завидует сам
Гагарин: мы по обыкновенной земле летаем, по

синим горам летаем. Летаем не два-три дня среди безмолвия и тишины, летаем восемь месяцев, летаем круглый год. Тебе надо научиться самому управлять оленями. Кто держит хорей в своих руках, кто сам управляет – ни при какой скорости не свалится с летящей нарты, с летящей жизни!»

Не знаю, кто это говорил. Говорил ли Микуль. подъехавший ко мне, говорили ли струйки, скользящие по лицу, говорило ли моё сердце?

Я встал, отряхнулся. Микуль дал мне в руки хорей и тынзян. Я, конечно, не умел ещё лёгким и чутким вздрагиванием тынзяна вовремя подсказывать, в каком направлении двигаться оленям, но уже умел заставить хорей плясать по их спинам и задним ногам. Странное дело: управлять тонко и умело животными мы не умеем, а бить умеет каждый, бить даже самого близкого, бить оленя, который и возит человека, и кормит его, и одевает. Хорошие мысли ходили в голове, но, подгоняя оленей хореем, просто-напросто их бил: надо было догнать остальных, да и показать, что я умею быстро ездить... Странно: из-за этого «показать» мы часто делаем такое!..

Если бы олень умел говорить, он бы побил меня словами, наверно, большее, чем я его бью хореем. Интересно, а не жалко ли бывает Микулю оленей? Не думает ли он, что и им больно? Не успел я и подумать, как он меня упрекнул:

– Ты бьёшь оленей. Хорей – не палка. Это язык оленевода. Оленевод подумает. Передаст мысли хорею. Хорей коснется оленя, и тот уже знает, что хочет человек. Олень всё понимает... Особенно вожак! С хорошим вожаком не пропадёшь ни в пургу, ни в мороз...

Нам надо было ехать быстро. А нарты тащились еле-еле. Другие уже, наверно, на месте. И солнце уже склоняется к верховью речки². А дел ещё много: часть стада, состоящую из важенок и годовалых оленят, надо было перегнать на новое пастбище по направлению к Уралу, к летним пастбищам колхоза.

Микуль попросил остановить оленей. Я потянул к себе верёвку – вожак остановился. Микуль опять взял свой хорей и сел на свое место, а я снова поместился позади. И как бы в утешение он сказал:

– Учителю не обязательно уметь управлять оленями. Это уж наше дело. Ну, а если хочешь, то научим со временем. Какой ты манси, если не умеешь ездить на оленях!

Дёрнулась верёвка, подпрыгнул хорей, и нарта полетела, полетела не как дикая, разъярённая выюга, а со скоростью спокойного, крепкого ветра.

Хорошо ехать на оленях! Лучше, чем на тракторе. Не пропахнешь бензином, не застрянешь в сугробе. В любую погоду олешки крылатые не

² Солнце склонялось к обеду.

подведут... Трактор хороший, очень нужен людям. На нём возят и сено, и дрова, и лес, и пахут целину... Трактор сильный – не сравнишь его с оленем. Но на нём на охоту не поедешь. Не пролетишь в соседнюю деревню за одно мгновение. И не станешь есть железо – мясо трактора. Олень на Севере нужен, как и трактор. А вот некоторые этого не понимают...

Дети рыбаков и охотников – мои ученики – все хотят стать трактористами. Это хорошо! И хотят стать космонавтами, капитанами, учёными, врачами, учителями, рыбаками и охотниками. Это хорошо!

Только никто почему-то не хочет быть оленеводом. А все любят нежное оленьё мясо, при виде мёрзлой сырой печени у всех слюнки текут. Почему у них текут слюнки и почему не хотят быть оленеводами?

Может, в этом виноват и я? Виновны и все учителя: нет внимания к профессиям древним.

...А вот и сами красавцы. Они как лёгкие сны: подумаешь – приснятся, подумаешь – появятся. О, сколько их, безрогих, и белых, как снег, и серых, как мох, и пятнистых, как тундра... Снежной лавиной спускаются они с лесистого холма в долину речки.

Милые олешки, вас любят воспевать в стихах поэты, скульпторы возносят вас на пьедестал – и вы красуетесь на площадях больших городов.

А вот тех, голос которых эхо носит по тайге, тысячи раз повторяя звонкое «о-о-о-о-оооо!», тех, кто пасёт вас, милые олешки, защищая от волков, перегоняя на богатые вкусным ягелем пастбища, всегда ли мы понимаем?.. И, может быть, в один из дней вы окажетесь без пастухов: стариков уже не будет, а молодые не захотят возиться с вами, — поинтереснее вас в мире есть дела!..

Ночь на снегу

*Звёзды осыпали небо.
Месяц в звёздах исчез.
О, рыжие лисенята
На синем лугу небес!*

К вечеру, когда небо стало как разорванная шкура медведя, наш караван наконец остановился. Было необычно тепло. Снег был мягким-мягким, — казалось, даже вечером, без ласковых рук солнца, продолжал таять. Но это, наверное, только казалось. К утру снег даже в любую тёплую ночь покрывается хрустящей корочкой.

— Тепло! — поглядывая на небо, сказал чем-то встревоженный Микуль. — Не пошёл бы дождь, а то не успеем перевести стадо через большое болото. Беда будет. Разольётся болото, скользить будут олени. Да и здесь маловато корма для оленей. Надо спешить!.. Может, обойдемся сегодня без чума?

— А дети не замёрзнут? Хотя и весной пахнет, а снег ещё толстый и холодный, — проговорил я, вспомнив прошлую ночь, когда чудилось, что

звёзды позванивают, как холодные льдинки под копытами оленей.

– Дети-то не замёрзнут: они не впервые по этой дороге едут. Не такое видели. А вот ты...

Мне было обидно, что меня считают слабее детей, С чего это взяли? Я ведь тоже северянин, а не какая-нибудь там ворона, улетающая в тёплую зиму от сурового северного ветра. А может, слабыми, невыносливыми считают всех грамотных? Микуль смотрел на меня не то жалостливо, не то с вопросом.

– Если детям хорошо будет спать под открытым небом, то мне тем более, – сказал я ему.

Уже горел костёр. Белый конь облизывал чёрного в пламени висел большой медный котёл. «Наконец-то горячее! – подумалось мне. – А то одно сырое мясо с мёрзлым хлебом. Надоело».

Самый маленький человек, Мань-пыг, улыбался огню. Тянул к нему ручки. Мань-аги подносила к костру сухие еловые веточки. Они загорались ярким пламенем, трещали, как стрекозы в жаркий день. Мань-аги смотрела и слушала, как яркие языки огня превращали в летящие звёзды и в пламенеющий уголь её веточки. Она, наверное, очень радовалась, что наконец-то не надо сидеть спокойно в нартах, можно бегать, как оленёнку, играть с любимой маленькой собачкой Хулах и даже подбрасывать ветки огню. А девятилетний Епа

уже строил себе из снега и еловых веток маленький чум для ночлега, приговаривая:

– Бот увидите, замёрзнете, коль не захотели ставить чум. А я не замёрзну!

Рядом с котлом пыхтел огромный чайник. Когда пыхтит чайник, люди веселее: без чая какая сила!

Микуль. Ай-от, Вуй-ай-ики, Силька ещё возились с оленями. Тётя Сана, Окра, Яныг-турпка-эква копошились у своих нарт. Они приготавливались к ужину и ночлегу. Только Итья Татьяна, Ларкин и я вместе с ребятами сидели у костра. Почему-то мы молчали. Может быть, эта дорога нас всех заставляет думать, рождает невесёлые мысли? Но почему я думаю, что у других должны быть тоже невесёлые мысли? Итья Татьяна не кажется подавленной. Она, может быть, молчит оттого, что ей нравится этот тёплый вечер, этот костёр на снегу?

Итья Татьяна... Она склонилась над костром, большой деревянной ложкой снимает пену с варева. Я говорю ей:

– Ты ведь так уберёшь весь жир.

– Я убираю не жир, а плохую пену, которая всплывает раньше жира.

Смутное лицо её, освещённое яркими языками огня, кажется румянее и блее. А большие раскосые глаза чёрные-чёрные, как дужка котла, живые и глубокие. В них отражается, как в зеркале, пла-

мя костра. А может, это её собственное пламя? И оно сильнее огня этого костра?

Ларкин – мой ровесник. Но сегодня он выглядел старше. Узкий длинный нос, кажется, стал ещё длиннее.

На покато и узком лбу сплелись чуть заметные морщинки. Подперев правой рукой щеку, он как-то безразлично глядел на пляшущие языки огня. Глаза его напомнили мне взгляд усталого оленя...

Ларкина я знаю с детства. Вместе росли, в одном классе учились, играли, иногда ссорились. И как маленькие собачата, только что подравшиеся друг с другом, опять играли, бегали, веселились. Мне он тогда нравился: глаза его были такие острые, – кажется, летят на тебя маленькие невидимые стрелы, вот-вот уколут. Мы вооружались еловыми шишками, тонкими прутьями и нападали на укрепления «фашистов». Мы скакали верхом па лошадях, на тоненьких прутьях, увидев «укрепления врага» из досок или подгнивших лодок, громили их. На них летели шершавые еловые шишки. Когда «противник» отступал, мы разрушали до основания его укрепления...

А как мы ходили на охоту и рыбалку! Это не расскажешь в сказке, выдашь за быль – не поверят.

Потом наши пути разошлись. В каком-то классе Ларкин отстал, рыбачил, служил в армии. Как одного из самых выносливых, повидавших жизнь, привыкших к трудностям, комсомольская органи-

зация направила его в оленеводство. И вот он сидит у костра, взглядом усталого оленя смотрит на пляску огня...

Постепенно все собрались. С удовольствием чихнув два раза после очередной дозы терпкого табака который он так любит нюхать, Микуль бодро пробасил:

– Ну как, маленькие люди, сердца ваши у костра стучат?

– Скоро наши сердца достучатся до того, что растают, как снег под костром, – неожиданно выпалил Ларкин. – Едешь-едешь, и не видишь ни конца, ни края. Сколько дней уже мы в пути – а что видели? Один костёр да иногда чум. Когда будет конец?

– Конец будет, когда умрём.

– Ну, бригадир, мы умирать не собираемся!

– Тогда живи! Кто тебе запрещает? Ты дышишь – значит, душа твоя с тобой.

– Но так жить я не хочу! Дорога, костёр, опять дорога. В армии хоть знаешь: пройдут учения, опять начинается нормальная армейская жизнь с увольнениями, с книгами, кино, радио, телевидением. А тут не видишь просвета.

– Я не служил, не знаю, как там у вас. А у нас, оленеводов, своя армия: тысяча двести оленей – солдаты, а мы с тобой – генералы, – говорил, чихая, Микуль.

Был он важный, как олень-хор. Смотрел на нас снисходительно: мол, вот какая нынче молодёжь пошла.

– У костра на снегу – как на пляже под солнцем! – с улыбкой кивнула Итья Татья.

Значит, она ждала удобного случая вступить в разговор.

Что такое пляж, Микуль, конечно, не понял, но он не стал показывать, что не знает этого слова, а с тем же важным видом продолжал:

– Вы говорите «у костра на снегу». Вам не нравится костёр? Тининг мань махум! Дорогие маленькие люди! – продолжал он. – Если бы не было этого огня, старики такие, – он кивнул в сторону Вун-ай-ики, – до седых волос по земле, по лесу и не ходили бы. Наши олешки одичали бы, как звери. Может быть, только оттого в наших душах сила, что выросли мы у такого костра: он топит снег и растит сердца!

Не понять мне Микуля. Он то поддерживает нас, молодых, то старых. Учился в школе, а нюхает табак. Я спрашиваю, почему он любит эту гадость. А он мне:

– Чтобы чихать. Чем-то надо заниматься в свободное время оленеводу. Ты читаешь книги, а я чихаю.

Не понять Микуля.

– Я ж не о костре, а вообще об условиях, о дороге, – говорил с раздражением Ларкин.

– Дорога... Хорошему оленю большая дорога не страшна, а плохому и маленькая тяжела. А ты, Ларкин, хотя и новичок, но я бы не сказал, что ты слабый: ты ведь наравне со всеми обходишь следы с утра до ночи, и не видно твоей усталости. Будет из тебя настоящий оленевод! – сменив важный снисходительный тон на внимательный, серьёзный, заключил Микуль, принимаясь за дымящийся паром кусок мяса.

Перед нами тоже стояла большая эмалированная чашка. Итъя Татъя, Ларкин. Микуль, тётя Сана и я образовали свой полукруг на левой стороне костра. Мы всегда ели вместе. Нашей хозяйкой была тётя Сана. Я взял большой кусок с мозговой костью. Когда-то я очень любил такую кость с чуть-чуть жестковатым, недоваренным мясом. Переваренное мясо соскальзывает с кости. Это не вкусно. А когда чуть недоварено – сказка!

Трещит костёр. На его противоположной стороне под ударами тяжёлого ножа Вун-ай-ики трещит большая мозговая кость. Вот уже она разбита, и по седым редким усикам, напоминающим сухой ягель, текут жирные капли.

– Аен, аен, Епа (пей, пей, Епа), мозг оленя, – приговаривал Вун-ай-ики, обращаясь к внуку и наблюдая, как тот с аппетитом сосет кость. – От оленьего мозга умнее будешь!..

...Во мне, кажется, что-то шевельнулось. Я не мог больше есть. Тётя Сана посмотрела на меня, как важенка на только что родившегося оленёнка.

– Ты что, заболел? – спросила она участливо. – А может, дать тебе русской еды?

Не дождавшись ответа, она встала и принесла из нарты холодную блестящую баночку с надписью «Котлеты». Я открыл баночку складным ножом. Ко мне присоединился Ларкин, не удержалась и Итья Татьяна. Нам не хватило и трёх банок...

– Если вы будете опустошать банки с такой быстротой, то русской еды не хватит вам и на неделю! – проговорил молчавший до этого Микуль, с аппетитом пивший мясной навар.

«Вот если бы была база, где можно было приобрести свежие продукты. Ну хотя бы на середине пути, – вдруг подумалось и мне. – Совсем хорошо было бы...»

Потом мы долго с наслаждением пили густой тёмно-коричневый напиток, настоящий на чаге. Чага... Недаром люди говорят о ней: растёт на дереве, люди любят. Конечно, люди любят не чагу, а кипяток, настоящий на ней... Чай... Я вспомнил стихи.

Мы белее мёрзлой рыбы.

Без тебя пропасть могли бы!

Выручай, выручай,

Кипяти всесильный чай!

Чай действительно всесильный. От него стало теплее, чем от костра. Теперь глаза говорили на самом весёлом в мире языке... Но разговаривать некогда: завтра снова утро. Снова дальний путь. Поэтому надо спать.

Все стали устраиваться на ночлег. Маленький Епа уже потащил в свой небольшой чум шкуру оленя. До того был «велик» чум, что часть шкуры торчала на улице. Но Епа не огорчился, Он сегодня самый умный и заботливый оленевод: ни у кого нет чума, а у него есть. Да ещё какой! Не куропачий чум, а конусообразный. Куропачий чум делается из одного снега. А Епа срубил колья. Связал их наверху тынзяном, как шесты над настоящим чумом. Покрыв еловыми ветками и снегом. Получился настоящий, смотрящий в небо чум. Епа, довольный своей работой, был веселее осеннего сытого оленя. Раньше других он устроился на ночлег.

Рядом с чумом Епы копошились Вун-ай-ики и его старуха. Тоже готовились ложиться спать.

Ночь... Небо оделось в торумсов, в яркую небесную одежду. Там бредут сияющие звери – уй. Это звёзды. Они движутся медленно-медленно, словцо сонные, навевая людям яркие сны... Их, наверно, уже видит Микуль: он храпит на всю тайгу. Даже звёзды, наверно, его слышат. А он не слышит... Устал. Целый день на лыжах...

Рядом со мной лежит Ларкин. Под нами оленья шкура, под шкурой снег. Под головой парка с

мягким-мягким мехом. Легли мы так, как были одеты: в малицах и кисах.

Единственное покрывало наше – узорчатое небо.

Лес стал голубой, лунный. Далеко-далеко звенят ветви деревьев. Звон всё ближе, ближе... Это поёт, наверное, снег под копытами. Олени рядом. Звон всё ближе, ближе... А кажется быть, это острый луч луны. Он, синяя, скользит через сугробы. Всё ближе и ближе подбирается ко мне. Я вижу его уже рядом. Я чувствую его прикосновение. Чудится, этот луч стремится проникнуть в моё сердце и ледяным цветком прорасти в нём!.. Я уже мёрзну... Переворачиваюсь с боку на бок.

А под голубеющей елью, дальше всех от костра, спокойным и глубоким сном спит семья Айота. Посредине Мань-пыг и Мань-аги. По краям отец с матерью. Берестяная люлька Мань-пыг завернута в сахи³. Но лицо его открыто, как и лица сестрёнки, матери, отца. Над ними скользят синие лучи луны. Но они спят спокойно, как будто нет мороза, как будто это всё обыкновенно...

Я мёрзну... Подхожу к еле тлеющему костру, подкладываю дрова. Чувствую на себе чей-то взгляд. Это смотрит на меня не холодная луна, а проснувшаяся Татьяна.

– Не спится? – тише лунной ночи спрашивает она.

³ Сахи – верхняя женская одежда, шуба.

– Холодно! – отвечаю я.

Она молча встаёт. Берёт дрова. И на расстоянии трех метров от костра разжигает другой. Сухие, смолистые ветки быстро загораются ярким пламенем. На снегу появляется новое светило. Может, даже небесные светила завидуют его свету и теплу. Костёр сильнее звёзд, костёр нужнее людям. Солнце, и то уступает костру: золотые языки огня не только греют в любую погоду, но и делают вкусной пищу, кипятят лучший на земле напиток – терпкий и душистый чай.

Я не понимаю, зачем разожгла Татьяна второй костёр. С недоумением гляжу на неё. Она молчит. Берёт шкуру на которой спала, и стелет её между кострами. Из нарты несёт другую, свёрнутую шкуру. Теперь я догадываюсь: эту положит она под голову. И правда, постель готова.

– Ложитесь, – говорит она почему-то строгим голосом.

Может быть, это потому, что ночь? Обыкновенно озорная и весёлая, Татьяна сейчас кажется суровой. Не дожидаясь ответа, она идёт опять к нартам, несёт ещё одну шкуру, стелет её тоже между кострами. И, положив в огонь по два толстых бревна, молча ложится. Ложусь и я.

Наши головы лежат на одной постели, а ноги врозь. Я и не думал, что между кострами так тепло, хоть раздевайся.

Не догадался бы я никогда, что между двух огней можно спать.

– Кто тебя научил такой мудрости? – спрашиваю не громче потрескивания дров.

Головы наши рядом, – зачем ночью разговаривать громко?

– Это не мудрость! Все так делают, когда очень холодно. Так ещё, наверное, делали и наши деды.

– А ведь всё же опасно спать между двух огней.

– Зато тепло! Бояться будешь – от одного страха превратишься в ледяную сосульку.

– Огонь не спросит, боишься или нет, протянет длинный язык – и запылаешь, как сухой мох.

– Когда стоит лунный мороз, искры летят к звёздам, не сгоришь.

Правда, языки огня тянулись к небу и искры не летели в стороны, как в ветреный или пасмурный день. И дым костров прямым столбом уходил ввысь, словно стояли две высокие стройные девушки с золотыми тёплыми ногами, с тонкими талиями и с платками звёздно-узорчатыми на голове. Я почему-то думал об Итье Татьяе.

Хотелось коснуться её руки, почувствовать тепло... Тепло, когда рядом люди...

– Что за красивая ночь!

И мне кажется, что это говорит не Татьяна, а моё сердце. И кажется, нет на земле больше мороза.

И никто не мёрзнет: ни седой, как старик Урал, Вун-ай-ики, ни бригадир Микуль, ни пастух Силька, ни даже самый маленький мужчина Мань-пыг. Разве можно мёрзнуть, видя эту дивную красоту? Ели под лунным светом присмирили. Рядом с ними лежат на снегу длинные тени. Они будто живые, даже дышат. Нет, это дышат не они, а олени. Я вижу, как играет луна синими лучами у их ноздрей. Олени не боятся мороза. Они любят красоту.

Олени! Да что олени! А те, кто спит на снегу, под елью, вдали от костра, с лицом, обращённым к небу, к морозу, кто они такие? Каким словом их назвать?

Мне стыдно за себя: я чувствовал только холод, только тяготы, а красоту не заметил, пока не подсказали другие...

Среди каких людей, оказывается, живу! Какую красоту приходится видеть!

А я вспомнил старую глупую сказку... Замечтался о базах, о домах на пути оленеводов, о свежих продуктах, о тракторах. Тогда, быть может, исчезнет эта красота? Какая красота на земле без костров, без снов на снегу, без сказочно-холодной лунной ночи?.. Согретый теплом костров и баюкающей красотой ночи, я уснул...

И, став чище телом и душою, опять я шёл вперёд. Опять костры сияли. Бодали небо олени. И сказка не кончалась.

Хорошее волнение

*Кто простит мне молчанье,
Если длинен язык у огня,
Если скачет огонь по тайге
Вороватою рысью?
Кто простит мне, скажите,
Молчание чувства и мысли?*

Вот бывает же так: уснёшь радостный, довольный собой и другими, а проснёшься – словно камень в груди.

Всё кажется холодным, серым, чужим... Даже если весеннее солнышко играет на верхушках елей, даже если Епа смеётся, как чайка над Обью, когда рыбы пляшут в струях, даже если олени ластятся к тебе и дарят самый добрый в мире взгляд. А тебе всё равно, как будто кто-то навалился на тебя и давит, давит...

– Эх, вы! Отчего вы такие дохлые?! Как рыбы, вытащенные из воды! – укоризненно бросает нам с Ларкиным Итья Татьяна. В глазах её не то жалость, не то презрение. – А ещё комсомольцы!..

Над утренней тайгой эхо носит звонко: «О-о-ооо!» Это Микуль и Ай-от обходят стадо оленей. А олень-хор, мудрый вожак, уже настраивается, он знает по голосу хозяев, в каком направлении вести стадо. Потёпка и Вун-ай-ики запрягают в нарты оленей.

Яныг-турпка-эква копошится у потухающего костра. Тётя Сана моет снегом чашки и складыва-

ет в специальный ящик для посуды. Окра усаживает в нарту детей...

Каждый занят своим делом. Торжественны их движения. Какая мудрость в них живёт? Почему им кажется всё это обыкновенным? И эта морозная ночь, и это солнечное утро, и этот мёрзлый хлеб и мясо... Может быть, их успокаивает, радуется дорога, стадо, движущееся по ней, вечное движение? А может, они просто привыкли жить, не думая? А может, они просто мудрее?

Думы мои, думы...

— Так много мы любим говорить!.. Романтика... Комсомол... А что сделали мы? Да скоро нас презирать будут! Йикор, и тот... — Итья Татьяна не договорила.

Она словно захлебнулась от еле сдерживаемого волнения. Слова больше не летели. Наверно, они слабее... Говорили её лицо, глаза. Кажется, я всё понял, даже в окаменевшем Ларкине шевельнулось что-то живое.

— Что ты от нас хочешь? — усмехнулся он.

В глазах его сквозила древняя улыбка мужчин, снисходительно относящихся к женщинам. Но она не заметила этого. Татьяна вдруг приблизилась, особенно её глаза. Они словно прилетели издалека, из страны презрения и отчуждения, и замахали тёплыми крыльями. Они тянулись к нам, словно руки друга. В них было столько желания сказать, объяснить...

Впервые я видел её такой взволнованной, сердитой, какой-то далёкой и недосягаемой.

– Я... я ведь умею готовить. Готовить обеды по-новому, по-современному. А то я вижу, как вы едите. Так не протянете... Разрешите мне готовить для всех!

Подобрел и Ларкин. Но он высказал сомнение: мол, оленеводы обидятся, да и не захотят есть наше.

– Ведь они привыкли по-своему. Привычка – как тяжёлый камень. Его трудно убрать с пути, камень обычно обходят... – философствовал Ларкин.

– Ну если не захотят, то я буду готовить для вас. А их буду учить. Они постепенно привыкнут...

В душе я был согласен с Татьей. И я люблю мёрзлую печень, тающую на губах, и мозговые кости, и глаза оленьи, и строганину из нельмы, и солёного муксуна. Но одно мясо, мясо, и только сырое, надоедает. Я уже привык к другому. И Ларкин, и Итья Татя – тоже. И оленеводам нужно разнообразие.

Хорошее волнение у Итьи Татьи. Но что скажет моя тётя? Не обидятся ли остальные пастухи? Не будут ли неприятности?

Неприятности, может, и будут. Но если бояться всего, то нечего мечтать. Какие же мы тогда комсомольцы?

Хорошее волнение у Итьи Татьи.

Действительно, сколько мы уже каслаем с бригадой, что полезного сделали для них? Ничего!

Просто слоняемся, не знаем, за что взяться. Просто мы, наверное, мешаем. Скоро действительно они будут смеяться над нами.

Оленеводы – мастера! Они нас научат пасти оленей. Но мы комсомольцы – мы много нового знаем: можем учить их.

Мы поговорили по душам. Решили жить не в чуме, а в палатке. Она есть в бригаде, только не используется. Оленеводы относятся к ней с улыбкой. «Дом старушки, делающей нитки из жил, – говорят они о палатке. – в жилу в ней превратишься от холода...»

Нет, мы будем ставить её на каждой стоянке. В ней будет чисто и уютно. Не будет той тесноты, что в чуме.

В чуме трудно навести порядок. Очень трудно. Италья Татьяна пыталась что-то в чуме сделать. Но всё безуспешно. А в палатке можно... Там можно поставить и столик для газет и журналов. И радиоприемник. Наша палатка будет красным уголком, новым Красным чумом. Говорили ещё о многом, спорили, предлагали, мечтали...

Хорошее волнение. Даже Ларкин словно оттаял. Это было, наверное, наше первое комсомольское собрание, хотя не вели мы никакого протокола. Впрочем, почему должен быть обязательно протокол и прочие формальные признаки «мероприятий»? Ох, как это всё надоело! Было бы хорошее волнение. А оно уже есть, есть!

Олени, запряжённые в нарты, нетерпеливо постукивали по хрустальному утреннему снегу, лайки весело повизгивали в предчувствии новой большой дороги. Хорошее волнение...

Все росли в люльке

*...Станет мальчик с бурей биться,
Пробираясь к маю.
Станет падать, подниматься,
Станет плакать и смеяться...
Путь искать средь ночи,
О, как жить он хочет!*

На стоянке мы пытались поставить палатку. Не вышло.

Тётя Сана набросилась на меня.

– Что это вы за существа такие? Кто вас чешет? И это вам не так, и то не этак. Нипочем вам боги и духи! – тянула тётя Сана тягучие мансийские слова.

Голос её вздрагивал. В нём чувствовались и слёзы, и гнев. В глазах её погас тот ласковый огонь, который так грел меня в детстве. Они смотрели растерянно, словно потеряли что-то дорогое, но с надеждой, что, может быть, и найдут потерянное. Мне стало жаль тётю. Я не пытался больше настаивать.

Только Итъя Татьяна не отступала.

– О, да ты уже старик! А я считала тебя молодым! – колет словами она Микуля.

– Да дайте им палатку, пусть живут как хотят! – добродушно говорит почему-то весёлый сегодня Силька.

На противоположной стороне чума сидит мать Сильки, костлявая Яныг-турпка-эква. Уставив бесцветные глаза на Сильку, с большой дымящейся трубкой в руках, она цедит:

– Силька, Силька! Шёл на поводу у жены. Мужчина! Жил под поганой крышей. А сейчас идёшь на поводу у этих!.. – Она с презрением кивает в нашу сторону.

Отец Сильки, Вун-ай-ики, сидит тихо, насупив брови. Исподлобья посматривает на Сильку. Глаза так и колют. Сердцу холодно становится. Но скоро будет жарко. Йикор бьёт ладонью по поллитровке. Звенит стекло: звякнула отлетевшая пробка.

Спирт... Он хороший, когда горе. Всё забудешь. Горе? Да, горе. Жена Наста опоганила дом, Силькино имя, честь. Доброе имя – честь! Манси любят доброе имя. От зари до луны, от луны до зари бегут за широкими лыжами, обгоняя друг друга, две дорожки. Если они бегут – доброе имя у охотника. (А Силька был охотником.) Если спят – плохое. Если белка не висит за поясом, если не смотрит с плеча лисица, если не качается росомаха – плохое имя у охотника.

А летом, когда запляшет рыба на Сосьве, забурлит от всплеска Обь, плохое имя у манси, если

он может спать в такие ночи. Какой сон! Ему больше надо рыбы наловить, обогнать других.

А хороший дом, хорошая жена? Что за манси, если нет у него хорошего дома, жены? А у него, говорят старые люди, нет хорошего дома. Опозорила Наста. Лазила на крышу. Старики говорят: «Ты, Силька, мужчина, а жил и ходил под крышей, где женщина ходила». Эх, Наста!

Звенят стаканы. Йикор любит чокаться. Сегодня и Силька не прочь. Горе! Горе! Горе пришло в дом Сильки, в сердце Сильки.

Йикор сверкает не только гранёным стаканом, не только коростливой плешью на голове, но и ехидной улыбкой. Он смеётся и над пьяным Силькой, и над старушкой корягой, и над нашей неудачей. И хотя глубокая ночь давно навевает уставшим за день сны, он гогочет, как гагара...

Словно вихрь пронёсся над Микулем. Волосы взъерошились. Глаза сузились. Он весь побагровел, как закат, обещающий бурю.

– Товли! Довольно! – вырвалось у него, как гром.

Подлетел, как вихрь, к гогочущему Йикору. Одно мгновение – и гагара стонала уже за чумом.

В ночь ушёл и Силька.

Еще холоднее стало в этом чуме. Разве можно спокойно спать в такую ночь?!

Меня разбудил детский плач. Это кричал Мань-пыг, спеленатый в берестяной люльке. На-

верно, мокрый; наверно, надоело лежать связанным... В лапах медведя побывал и то не кричал... А тут кричит...

Ещё заспанная мать вынимает его из люльки. Он потягивает от удовольствия толстые белые ножки с прилипшей мокрой шерстью и, довольный, машет ручками...

Он поблескивает, как мокрая нельма. К нему ластятся белесые струи: в чуме ещё холодно:

Мой горластый, уколищый,
Ты зачем родился?
В мир тайги, где ветер злится,
Ты зачем явился?
На полу, где иней талый,
Там родятся дети.
Сколько горя испытала
Мать моя на свете!
Буря выла, буря злилась,
Ветер дул упрямо.
Радость, как цветок, раскрылась
На губах у мамы.
Нежность, радости, печали,
Снежное ненастье...
Люди, вы бы мне сказали,
Что такое счастье?

Мань-пыг, маленький сыночек, выйдет ли из тебя оленевод, захочешь ли ты жить в чуме, будешь ли ты кочевать, как твои родители? Кто знает,

кем ты будешь и чего захочешь. Сейчас тебе всё равно. Жизнь твою никто не сможет придумать.

Жизнь теперь бежит не шагами лыжника, несётся не оленьей рысью, а летит космическим кораблем. И тебя, быть может, подхватит скорость этого корабля, пусть ты ещё каслаешь, пусть даже спишь в древней люльке. Люлька...

Мать вытряхивает мокрую труху из ночной люльки. Ноздри щекочет острый запах. Но никого это не тревожит. Все спали в такой люльке, со связанными руками и ногами. Шевельнуться даже нельзя. Можно только повернуть голову набок.

Зато ночью не мёрзнешь... Хоть и неудобно, зато живёшь, в чуме живёшь, на нарте живёшь, когда поёт выюга — живёшь, когда всех клюёт дождь — а тебе тепло, а ты живёшь! Вот такая ночная люлька, сделанная из бересты, с узорами леса, оленьих рогов, следов лягушек и птиц.

Но есть ещё и дневная люлька. Она тоже из бересты. На ней тоже узоры. Ещё ярче. И красные, и жёлтые. И сделаны они гораздо аккуратнее. Ведь это дневная люлька, на неё смотрят люди. Смотрит и дитя. А на люльке навешаны бляхи, и колокольчики звенящие, и разноцветная бахрома.

В отличие от ночной, в дневной люльке есть спинка. Ребёнок не лежит, а сидит в ней. Люлька обычно висит на кожаной верёвке, подвязанной к потолку или к жерди, как в чуме. Когда ребёнок плачет, люльку качают — и ребёнок успокаивается,

засыпает. Когда маленький человечек проснётся, он старается освободить ручки, потрогать бахрому, висящую перед ним, и голос звонкого колокольчика хочет послушать. Малыш плачет. Тогда его развязывают по грудь, освобождают руки, и он успокаивается, играет...

Эту люльку манси называют апа. Апа! Хорошая апа. Пусть лежал в тебе связанным и я, пусть не давала ты мне свободу и простор, но ты прятала меня от холода, защищала от длинноносых кровопийц-комаров, под твоё мерное качание я засыпал, забывая детские обиды и желания. Благодаря тебе, милая апа, я был всегда с мамой. И тогда, когда она вынимала из сети серебристых сырков и лодочка качалась, качалась на волнах, я был опять с мамой – мне было и не холодно, и не кусали комары. Я был с мамой и тогда, когда она косила сено в жаркий июльский полдень и когда везла дрова из дремучего леса на ленивой лошадёнке. Апа, ты, может, была чересчур тесной. Но лишь благодаря тебе я стал ценить простор и свободу...

В такой же люльке рос и Вун-ай-ики, в такой же люльке он баюкал Сильку, из такой же люльки улыбалась Итя Таття. Но не в этой ли люльке Яныг-турпка-эква стала такой ворчливой, не в этой ли люльке у милой тёти Саны родилось суеверие, не в этой ли люльке разболтался Йикор, не в этой ли люльке Потёпка стал шаманом? Все рос-

ли мы в одной мансийской люльке. И, как стороны света, такими разными стали...

Волки

*Снег сухой они хватают,
Мчась среди стволов,
И всё злей глаза сверкают,
Звонче лязг зубов.
«Дай нам крови», – небо просят,
Поднимая вой.
Но мороз сильнее заносит
Кнут над ними свой.*

Утро. Звёзды уже откочевали с проснувшегося неба. Лишь тонкий месяц, как пастух, ожидающий смену, ещё бродит по верхушкам коренастых кедров-мужичков. Где-то близко-близко за деревьями идёт солнце. От его приближения небо позолотело, заулыбалось, а тонкий месяц уставший за ночь, побледнел. И как только солнце кинет свой взгляд золотистый взгляд на верхушки кедров, он уйдёт на отдых до вечерней смены. Трудная всё же у месяца обязанность: ему приходится работать ночью.

А ночью – темень. Хоть глаз выколи – ничего не видно! Ночью только волки становятся зорче, чтобы видеть свою добычу – тонконогих оленей.

Ночью злей мороз. В темноте наглеют его ледяные языки. Лизнут щеку – и она побелеет, как мёрзлый сырок, лизнут кончики пальцев – и чуткие пальцы не слышат ничего, словно глухие. А как взойдет месяц – всё заголубеет, засияет. Ме-

сяц яркий всё видит: ведь он пастух, ему доверено охранять всю землю, все добрые стада звёзд, все стада оленей...

Трудная профессия пастуха!

Как на смену месяцу приходит солнце, так и Микуля и меня, дежуривших всю ночь, сменяет пастух Ай-от. Вот он уже идёт...

Трудная была ночь. Как больные в жару, металась олени. Их беспокоили волки.

Волки. Раньше о них я слышал лишь в сказках да в длинных, как ночь, охотничьих рассказах. И не совсем без спроса нападают они на людей и на тучные олени стада. Перед тем как напасть, они завывают голосами вьюги, плачут, умоляя небо, прося разрешения указать им, кто больше всего грешен, кому пришла очередь оказаться в волчьих зубах, расплатиться за содеянные грехи.

Волки воют – говорят с небом. Волки напали – это желание неба, судьба. А от судьбы никуда не свернёшь, не спрячешься... Так думали раньше манси и ханты о волках.

И вот, когда за карликовыми соснами на голубоватом лунном снегу мелькнула серая тень, лыжи мои словно онемели, остановилось, кажется, сердце. В мыслях быстрее самолёта промелькнуло – судьба! (Как сильны всё же суеверия, навеянные в детстве!)

Но волк нёсся не на меня, он стрелой летел на почуявшего опасность оленя, вцепился клыками в ляжку.

Олень остановился, присел, наверное, от испуга и боли, передними ногами на снег. Мгновение — острые клыки впились в горло, и на синеватом снегу в судорогах билась голова оленя. А волк летел уже к другому, к третьему...

Вторая и третья головы оленей плясали на снегу, второй и третий ручей крови журчал из перегрызенного горла...

Олени метались. Они бежали почему-то в мою сторону. И я чуть не побежал, но волк был уже совсем рядом. Только тогда, когда он перегрыз горло первого оленя, надышался тёплой кровью нового и был готов броситься на следующую жертву, только тогда волк заметил меня. Глаза его зажглись зелёным огнём. Они горели, кажется, ярче луны. Волк ошетинился, оскалил зубы. Острые клыки сияли в лунном свете. Он словно улыбался над моей растерянностью.

Не помню, как я выстрелил. И не помню, из какого ствола двустволки сначала выстрелил: то ли из заряженного пулей, то ли крупной дробью.

Но когда дым рассеялся, на шее оленя лежала голова волка. Она ещё раскрывала пасть и скалила клыки... Но злобный, зелёный огонь в звериных глазах уже погас.

Услышав выстрел, с лаем прибежала собака. А за ними и Микуль. Он, не обращая на меня никакого внимания, подошёл к подыхающему волку.

– Твари! – процедил он сквозь зубы. – Опять появились!

Я ожидал что он меня похвалит: ведь я впервые убил хищника, да ещё какого! Четырёх оленей растерзал он на моих глазах.

Но Микуль на меня даже не взглянул. «Обидно! Неужели и это обычное дело?!» – подумалось мне.

Не теряя ни секунды, Микуль срубил топором высохшую сосну, набросал сухих веток. Только чиркнул спичкой, как сухая хвоя вспыхнула ярким пламенем. Высоко в небо полетели искры. При свете костра голубая лунная ночь, кажется, посинела.

«Собаки лают – волки близко», – говорят в народе. Собаки наши визжали, стучаясь о серебряные стволы деревьев, жались к нам. Видно, не один и не два волка напали на стадо. Микуль стрелял из ракетницы. Красные и белые ракеты вспыхивали и рассыпались над верхушками деревьев, освещая на мгновение необыкновенным светом тайгу. Олени жались к костру. Много костров разожгли мы в эту ночь, пока не откочевали звёзды с проснувшегося неба. Много раз обходили мы огромное пастбище. Но усталости не чувствовали.

И вот верхушки кедров уже пылают в лучах солнца. Месяц ушёл на отдых. Волки исчезли, как

тени. И мы с Микулем, почувствовав наконец усталость, направились к чуму.

Волки... Нет, исчезли не насовсем. Вечером с появлением теней они опять приблизятся к стаду, опять будут резать оленей.

— Вот ведь твари! — вслух возмущается Микуль. Ну, загрызли бы одного-двух оленей... Так нет, режут подряд. Кровопийцы! Надо усилить охрану, наставить пугал, капканы, сделать отравленную приманку. С волками справимся! — почему-то вздыхая, говорит Микуль. — Труднее наладить положение в бригаде...

Поскрипывают лыжи, похрустывает подмёрзший снег. «О чем это Микуль? — думаю я. — Наверно, о вчерашнем происшествии».

— Погорячился я, — продолжает он. — Не надо было выбрасывать Йикора из чума. Всё же человек...

Поскрипывают лыжи. Хрустит снег...

— Но сколько можно терпеть?! — словно оправдываясь, восклицает он. — Вечное кривляние, расхлябанность, болтовня. Когда это кончится! А всё из-за вас! Раньше, когда ходили одни старые оленеводы, не было у нас никакой грызни. Всё делали дружно... Складно. Не было враждебности, непонимания...

Поскрипывают лыжи. Хрустит снег...

— Что-то надо делать! — заключает он.

Поскрипывают лыжи, хрустит снег. Месяца давно уже нет. Его сменило солнце. Но кто сменит

бригадира? Ночью он боролся с волками. Днём новые заботы – бригада, люди. У каждого душа. А что в ней?.. Бригадиру надо, надо знать всё... И всё уладить. Но как? С чего начать?

А может, и он виноват. Трудно сказать, кто виноват. Ясно одно – в бригаде беспорядок так жить нельзя. Волков можно уничтожить, а люди...

Солнце золотым глазом уже осматривает землю с её лесом, со стадами оленей, с людьми. Всякая нечисть при свете ярких лучей прячется, спит до темноты, а всё доброе начинает жить.

Вот уже дымок чума: оленеводы встали. Микуль не месяц. Он не может и не имеет права отдыхать, если в бригаде беспорядки.

Поскрипывают лыжи из блестящего камуса. Похрустывает снег... Микуль задумчив... Много надо думать бригадиру...

Самый большой оленевод

*Нет, не буду, как речная гладь,
Буду я волной большой, как дом,
Пусть мне в сердце постучится мать,
Что ловила рыбу подо льдом,
Я костры родительских сердец
Сберегу, чтоб век не догореть им, –
Ведь не зря же дрался мой отец
С медно-рыжим кулаком – медведем.*

Что за шумное веселье над тайгой? Неужели небо звенит от полёта уток? Неужели юг на Север прилетел? Не может быть: рано! А может быть,

удачливый охотник убил хозяина лесных дебрей и в чумах и во всей тайге Медвежий праздник?

Гремит тайга дремучая весёлым собачьим лаем, а над кедрами столетними летят, летят слова: «Самый большой оленевод приехал!»

Проваливается мокрый снег под широкими лёгкими лыжами, но я не обращаю на это внимания – я спешу навстречу голосам. Вот уже вижу дымок над чумом. Вот и чум, и поляна. На поляне олени, собаки, люди...

«Самый большой человек, охраняющий оленей, приехал! – поёт поляна.

А я большого человека и не вижу. Вижу только оленей. У них бока колышутся, как мехи старой гармошки. Отвисли красные длинные языки, – видно, долгую дорогу пришлось осилить.

Но где же он, этот человек? Разве тот, что в объятиях пастухов?.. Да он вовсе не большой, не выше карликовой сосенки. К тому же это и не оленевод, а обыкновенный горожанин: одет в короткое модное пальто коричневого цвета. Очки с роговой оправой... Какой он оленевод с такими глазами: очки упадут в снег, если бегут нарты, и он слепой, как сова днём! Настоящий оленевод, наверно, уже в чуме. Приезжего я где-то видел. Но когда, где? Взгляд... Знакомый и незнакомый. Где я ощущал на себе этот взгляд? В памяти возникает чёрная доска, чёрная парта, серые глаза...

И мы летим друг к другу, как две встречные волны. И обнимаемся, как две волны. А потом смотрим друг на друга, и, наверно, каждый из нас думает о том, какими мы были в школе и как изменились теперь. Хорошо ли, плохо ли – встретились; хорошо ли, плохо – вспомнили...

Арсентий... Мы учились и жили в одной школе-интернате. В восьмом классе сидели на одной парте. Потом он куда-то исчез. Всегда как-то сам собой забывается тот, кто до конца не идёт вместе с остальными. Потому, наверно, Арсентий выпал из памяти и никто из сверстников не вспоминал о нём. А может быть, потому мы забыли его, что он в школе был каким-то тихим, словно сонливым. Его почти не видно было. Даже тогда, когда он отвечал на вопросы учителя, он не привлекал внимания ни плохими ответами, ни хорошими. Он был незаметным, как свет днём. А вот теперь его называют самым большим, самым главным оленеводом, хотя он и совсем не похож на пастуха. В чём дело?

Мы сидим за маленьким столиком с короткими ножками. Рядом пылает костёр. А на небе солнце. Тает снег от костра, солнца и от нас. Даже столик вот-вот провалится в снег. Но мы не идём в чум. Там нет солнца, костра, этого чудного бескрайнего простора. Квартира под голубым небом – лучшая квартира в мире: самая светлая, просторная, чистая. Костёр – лучший друг людей. Костёр – самый

интересный собеседник. Но приезжий человек интересней.

Глаза всех оленеводов, больших и маленьких, женщин и мужчин, невидимыми нитями тянутся к глазам Арсентия, словно они необыкновенные две звезды, засиявшие в небе днём, при ясном солнце.

Даже Вун-ай-ики сегодня какой-то мягкий, словно весенний снег под тёплыми лучами солнца. Он с почтением задает вопросы приезжему и, дождавшись ответа, рассуждает с ним, как равный с равным. С Ларкиным и со мной он так не разговаривает. Он с нами – как лось с лосенятами. А с ним – как рогатый с рогатым...

Чем он заслужил такое уважение и старцев, и всех оленеводов?

Не историей ли, которую мне рассказывали люди?..

Когда Арсентий окончил техникум, когда стал ветеринаром, он вернулся в родной край. В районном центре ему дали работу. Там он встретил её. Глаза её были как две голубые ночи. А шея – тонкая и белая, как заснеженная веточка, по ночам Арсентию снилась стройная берёзка. И он потянулся к ней, к её трепету. Скоро справили свадьбу необыкновенную, комсомольскую. Сразу дали квартиру. Счастлив был Арсентий, как птица в полёте. Счастливая жизнь началась.

Но вот весной, когда оленеводы стали собираться в большое каление на Урал, ему предло-

жили ехать за стадом. Там не было ветеринара. Долго думал Арсентий...

По ночам снились олени. Нет, они не грозились ветвистыми рогами и не стучали копытами, а просто смотрели большими грустными глазами, будто шептали: «Арсентий, нам без тебя будет плохо!» Потом появлялась берёзка. Она трепетала ветвями. Опять было тепло-тепло... Но грустные глаза оленей звали...

Он уехал с оленями. Семь месяцев он кочевал по Уралу. Побудет в одном стаде, полечит оленей, даст советы пастухам, переезжает в другое стадо. Там опять работа...

Отзвенела ручьями весна. Так же быстро, как наливается соком красная морошка, прошло лето на Урале.

Долго-долго плелась осень, снежная, холодная, со звёздными длинными ночами, с песней выюги.

Но Арсентий не замерзал. Он шептал стихи:

В морозном небе звёзды хохлятся,

Лучами зябкими звеня,

А ей, берёзоньке, не холодно –

Пригласил в сердце у меня.

Теплей и сердцу с русским деревцем,

Не страшно встретиться с пургой, –

Куда оно, пустое, денется

Без этой ноши дорогой?

И он возвратился. И она его встретила, как может встречать весну только берёзка. И они были снова счастливы.

Зимой он был дома. Только изредка выезжал в стада.

Изредка командировка – хорошая жизнь. Изредка командировка – счастливая жизнь!

И вот опять весна. Опять олени. Они не грозятся ветвистыми рогами, не стучат копытами, просто смотрят грустными глазами...

Трудно найти им друга такого, как Арсентий. Некем заменить Арсентия... И Арсентий едет на Урал опять... А берёзка? У неё уже маленький сын... Она снова в трепете. Ветви её шумят, но шумят по-зимнему. И слетает иней... Но он – комсомолец! Ехать больше некому! Уехал!..

Снова весна, лето, осень, снег... Снова в морозном небе хохлятся звёзды, снова сны наполнены только ею.

И снова Арсентий шепчет:

Пугай, зима, гляди волчицею,

Бураном вой, гуди в трубе,

Я сберегу берёзку чистую,

Я не отдам её тебе!

Зима, что глядела волчицею, не тронула его берёзку – зато тронула жизнь. Когда вернулся, в доме было пусто, как после похорон. По стенам ползли белые грибы, по полу стелился иней – вот что осталось...

Умерла она? Нет! Её увез в тёплые края, в большой город человек. Он любил не оленей, а людей. Он не кочует годами в дикой тундре, а живёт как все...

Зима, что глядела волчицею, не тронула берёзку – тронула жизнь...

... Солнце смотрит уже с запада. Его руки ласкают верхушки древних кедров. Над ними струится тёплый голубой дымок. Дымок нашего костра тоже голубой, тоже тёплый. Голубой дымок струится и в руках Яныг-турупка-эквы: она курит и задает приезжему вопросы.

А Арсентий спокойно и медленно рассказывает новости: и о том, что на третье стадо совхоза напали волки, а в седьмом потерялся пастух, и о том, что нужно делать оленеводам этой капризной весной, как спасти стада оленей, когда от раннего дождя и частых новых снегопадов образуется толстый наст, а местами просто ледяная корка.

Трудно доставать оленям вкусный ягель. Мудрые оленеводы, древние оленеводы в тупике. А Арсентий знает. Он думает вслух, предлагает, советуется со стариками. Те тоже думают вслух, говорят...

Говорит и моя тётя Сана, зашивающая дырочку в кисах, и повеселевший Силька, стругающий ножку нарты, и Микуль, с наслаждением нюхающий табак, и Вун-ай-ики, приводящий в порядок тынзян, и маленький оленевод Епа, приучающий к чему-то собаку, и даже Мань-аги, озорница-

белочка, прыгающая у костра, – все думают вслух, говорят... Интересная беседа.

На другой день мы встали рано. Арсентию нужно было обойти стадо, чтобы посмотреть, как выглядят олени, насколько изранены их копыта.

На стороне нового, завтрашнего дня, на востоке, небо было розоватое, а над нами голубое, холодное. И мысли словно застыли. Мало говорили мы.

А лес уже говорил. «Т-р-р-р-р-р -р-ру!» – пело вдали дерево. «Т-р-р-р-р-р-р-р-ру! Тр-р-р-р-р-ру!» – пело рядом другое. Весь лес выводил многоголосую песню. Каждое дерево говорило, радовалось.

Поёт лес, очарованный ясным утром. Шуршит под нашими ногами наст. Перестукиваются с деревьями дятлы...

И понемногу оживляемся мы с Арсентием. Вспоминаем школьные годы, ровесников... Вспомнили Иосифа. Не того, которого все ласково звали Оська, а того, что звали Усюп, или Усюп-йив, по-мансийски Усюп – имя, йив – оглобля.

– Усюп!.. – усмехнулся Арсентий. – Зимой, когда я был в отпуске, видел его в Тюмени. На улице встретил. Потом несколько дней у меня в номере он жил. Жалко, совсем пропал Усюп. Попугаем стал. Переменил имя... Его теперь как-то по-другому звать.

Не знали манси раньше такого слова – «попугай». Не было такой птицы в сказках, не было та-

кого слова даже в песнях. А теперь всем известна стала эта птичка.

Летом на теплоходах привозят иногда люди железные клетки с болтливыми пёстрыми попугаями.

– А знаешь, как разодет Усюп?.. Не знаешь! Такого не придумают и самые остроумные на Медвежьем празднике! Не отличает ерша от окуня. Только помнит, что уха из ерша вкуснее. Забыл он и свой родной язык.

Рассказывают, как-то приехал домой и со старой матерью разговаривал на непонятном ей языке. Она, как испуганная зайчиха, таращила на него глаза. Вздыхала. Видя, что она не понимает, он показывал, изображал слова руками... Ты видел такого! – смеясь, воскликнул Арсентий.

А он какой институт окончил? – спросил я Арсентия.

Какой там институт! Он не окончил и восьми классов! Даже курсы не может окончить. Поступил в медучилище – убежал! Учился на курсах радистов, киномехаников, дизелистов, трактористов, баянистов – ни одни курсы не окончил. Сейчас, кажется, поступил на курсы экскаваторщиков-бульдозеристов. Поживёт, проболтается в одном месте, надоест – махнет в другое. Курсов много. И поступать легко – везде северянам льготы: одежда, бесплатное питание... Всюду танцы, музыка... Не жизнь, а сладкая морошка!.. Не то, что мы

с тобой бродим по глухой тайге да по тундре голлой... А, в общем, нам ему завидовать нечего! Оглобля и оглобля! Не для него и рыба, и олени, и лес, и нефть!

Над деревьями уже вставало бодрое и весёлое солнце. Пели деревья, щёлкали птицы – и над всей тайгой звучала музыка света, весны, жизни. Арсентий в эту минуту мне казался поэтом.

Под ногами хрустел мёрзлый снег. Иногда ноги скользили... Арсентий хмурился и продолжал:

– Обо всём этом я говорил Усюпу. И о настоящем и будущем нашего края. И что ему надо возвратиться в родные места, там работы хватит всем. А он мне в ответ: «Там нет условий для культурного отдыха!» Вишь какой, на готовенькую культуру зарится! А кто в его родном краю должен строить, создавать новую культуру? Тогда я пытался тронуть главные чувства человека, которые лежат где-то глубоко-глубоко, в самом сердце. Чувство к матери, которая дала ему жизнь, к земле, по которой он сделал первый шаг в жизни, к народу, на языке которого он сказал первое слово. На мои слова он ответил высокомерно: «Моя родина – планета Земля. Мой народ – земляне!» Тогда я его выпроводил из номера. Не мог дышать с ним одним воздухом...

Похрустывали под ногами снежинки, а иногда ноги скользили, и мы чуть не падали, но, увлечённые разговором, ничего этого не замечали.

Есть попугаи среди наших соплеменников! – тяжело вздыхая, словно размышляя вслух, протянул Арсентий. – Мало, но есть!.. А ты знаешь, что о таких попугаях говорят в народе: «ничтожные люди готовы считать родной народ свой ничтожным и пытаются отмежеваться от него. От таких людей отворачиваются свои, не признают их и другие... Сильные люди борются за то, чтобы прославить родной народ, сделать его счастливым».

– Даже когда на всей планете будет коммунизм и космические корабли полетят вон туда... – указывая на солнце, говорил Арсентий, – даже тогда в душе каждого из людей будет жить своя родина – та земля, где родился человек, тот народ, из глубины которого он вышел на дорогу жизни.

Народы Севера маленькие, как орешки на огромном и величественном кедре. Но и у нас есть своё, то, чего нет у других народов: свои легенды, песни, умение с улыбкой жить в суровых условиях нашего Севера. Кто быстрее поймает в тайге соболя, в Оби – осетра, в стаде – оленя? Конечно, северяне!

Вот стадо. В нём две тысячи оленей. Их пасёт всего шесть пастухов. А сколько таких стад на бескрайних просторах тайги, тундры! А сколько соболя, белки, горностаю добывают в тайге следопыты-охотники! Сколько серебряной нежной рыбы каждый день сдают государству наши славные рыбаки! Так что совсем не прав Усюп, отвернувшийся от матери, от своего народа. Вот ты – ман-

си, и я — манси... — повернулся ко мне Арсентий. — Мы родились на этой земле. Наши соплеменники привыкли к долгим касланиям. Но нам с тобой иногда бывает нелегко, правда?

В знак согласия я кивнул головой Арсентию. Да, уже привыкли к другой жизни...

— А как на нашем месте почувствовали бы себя, к примеру, узбек и молдаванин? Твоя тётя всю жизнь кочует, живёт в чуме, а нам с тобой этот чум опротивел...

И мы с тобой, как этот Усюп-йив, могли махнуть куда-нибудь на юг. А кто будет пасти оленей, помогать соплеменникам «стать с веком наравне»?

Лесная речка

*В пушистом инее леса
Сверкают золотом насквозь,
Костром в кустах мелькнёт лиса,
В снегу по грудь проходит лось.*

Мы остановились в долине одной из маленьких лесных речек, по-мансийски называемых «я». Кругом холмы с зубчатым бором, как спина осетра. В бору пихта, сосна, кедр. К берегу склоняли тяжёлые лапы ели, белые сверху, чёрные, как смола, снизу. Между холмами сияет под ярким солнцем большая поляна. Только посреди поляны, будто ленты, извиваются, бегут рядом две чёрные полосы. Это из-под снега смотрят карапли-йив — тонкие ивы, окаймляющие лесную речку.

Лесная речка... Ты навеваешь сны, шепчешь сказки моего детства. По звонким холмам такой же речки мы с мамой бродили по первой снежной пороше. Впереди бегала лайка. Как, бывало, почувет на ветке озорную белочку, сразу лаёт. И мы с мамой не торопясь идём на её страстный зов. Никуда белка не убежит. Я несу ружье мамы, как настоящий охотник. А мне всего шесть лет...

Белка скачет, звёздный иней

Сыплет в глушь лесную.

А под сосенкой кудрявой

Старый пес тоскует.

Наш Ханси всё лаёт и лаёт. Он уже видит нас: то бросается к нам навстречу, то опять кусает кору высокой стройной сосны. Это Ханси говорит: «Вот белочка, которую мы ищем, которая нам троим так нужна». Потом мама вскидывает ружьё. И белочка, с золотистыми усиками, с пылающим золотистым хвостом, лежит уже у наших ног. И мы все радуемся. Особенно Ханси и я...

Облетает звёздный иней

С молчаливых сосен,

Запахом зверька живого

Нос щекочет песий,

Хочет пёс, чтоб трепетала

Белка в чёрных лапах,

Хочет он вдохнуть седого

Дыма горький запах.

Лесная речка... На твоих каменистых перекатах, где и в звонкий осенний мороз беспокойная вода журчит и лепечет голосом монет, стояли наши гимги, плетённые из тонких прутьев и корней кедра. Когда солнце уже собиралось спрятаться за спину тайги, мы шли к перекатам, вытаскивали из воды гимгу, посаженную между камнями. В ней плескались огромные щуки, у которых на спинах цветут причудливые узоры с зелеными и белыми полосками, и крылатые рыбы – хариусы.

Лесная речка... На твоём берегу обязательно стоит избушка на курьих ножках. В неё несут свою добычу охотники. Ни один зверь, даже медведь, лазающий по деревьям, не может забраться в неё. Рядом с избушкой на курьих ножках обыкновенная изба, стоящая на земле. Загорится заря – в домике появляются охотники. Первыми, конечно, приходим мы с мамой. Рубим дрова. Растопляем чувал и готовим ужин. Потом приходят другие охотники. При свете жаркого чувала охотники снимают шкуры белок, развешивают на просушку. Варят суп из нежного беличьего мяса...

О, лесная речка, ты напомнила мне запах варёной беличьей головы. Как давно я не слушал у чувала, стреляющего искрами, длинных, длинных, как ночь, сказок!...

Новый шаман

*Женищина родного края,
Пробудись, взгляни вокруг
На дела твоих подруг!
Мир гордится их судьбою.
Что же ты живёшь рабою,
Что же ты зимой и летом
Под платком не видишь света?
На моей земле весенней
Кто, скажи, тебя священной?*

Всю ночь кричал Мань-пыг. Лицо его было красное и круглое: он тужился и плакал. И казалось, вот-вот сорвётся голос его...

Яныг-турпка-эква квакала, как лягушка, и плевалась зелёными плевками на Итью Татьяю.

— Агум-варнэ-ут! Агум-варнэ-ут! (Дух, насылающий болезни.) Это ты принесла нам несчастье; не соблюдаешь законы предков! За тебя наказывают нас боги, отнимают душу нашего внука. Тебя надо наказать!

Ворчала и тётя Сана:

— Из-за неё может погибнуть стадо: за мужское дело взялась, не бережёт в чистоте хорей, через него перешагивает. Разве мансийке можно?!

Потом говорит Окре:

— Попроси Потёпку, пусть пошаманит. Он ведь был большим шаманом. Много людей вылечивал, спасал от смерти. Над маленьким, чистым человечком духи, наверное, смиляются, если их задоб-

рить... Пусть пошаманит Потёпка... Проси, проси его, Окра.

И Окра просила, умоляла Потёпку, чтоб он поговорил с богами, узнал причину, за что мальчика наказывают духи, чем провинились оленеводы...

Потёпка сидел лицом к железной печке, в которой играл, трещал огонь. Его почти бесцветные глаза были печальны.

— Не могу я вылечить мальчика, не могу... Знаете ведь, я больше не шаман... Надо съездить в соседнюю бригаду за фельдшером.

Неизвестно, что было бы дальше, если бы не Итья Татьяна. Она посмотрела на всех долгим глубоким взглядом. А потом попросила у плачущей Окры разрешения поддержать её сына. Даже та, молодая, на Итью Татьяну и косилась. Но сына всё же дала.

Итья Татьяна прильнула смуглой и румяной, как яблоко, щекой к лобик у мальчика, заглянула в ушки и ротик, потрогала его ручки, круглый живот и попросила мыла. Отрезав тоненькую стружку, она положила ревущего Мань-пыга животиком на свои колени.

Стружка мыла оказалась чудом: вскоре мальчик оправился, успокоился и заснул глубоким сном.

Яныг-турпка-эква больше не плевалась. Окра целовала Итью Татьяну и роняла на ее сверкающие бусы счастливые материнские слёзы.

Всё так же играло пламя в печке, всё так же потрескивали смолистые дрова, всё так же сидел Потёпка у огня, только в глазах его словно плясали теперь озорные искры.

— Вот вам и шаман! Вот вам и новый шаман! — говорил он, кивая седой головой в сторону Итьи Татьи.

Потёпка

*Ветры свищут, вьюга рыщет,
Вьюга в сердце рвётся,
Чужа горе, вьюге вторя,
Сердце рыбой бьётся.
В те слепые дни были
Знал ли я, боля,
Что ведь доктор счастье мог бы
Мне вернуть быстрее?*

Потёпка! Какой манси не знает этого имени! Как имя зверя, как имя рыбы, знакомо оно манси. Но почему же мужчины при виде Потёпки смотрят поверху, словно гордые лоси, а женщины косятся по сторонам, подобно трусливым зайцам? Почему это имя такое быстрого, что всюду знают его на моей земле?

Слушайте.

В годы, когда я был маленьким, внимали манси тёмным словам Потёпки. Слова же эти были такие:

— Я всесильный шаман и могу говорить с небом. Дружат со мною шайтаны, речи мои доходят

до бога. Не забывайте неба, манси, иначе счастье никогда не найдёт к вам дороги. В домах же ваших поселятся болезни и нечисть!

В те дни, когда слушал народ манси речи шаманов, умер мой дед. А потом заболел я и стал слабее утёнка, только что вылупившегося из яйца.

Сказали соседи родным:

– Душу мальчишки унёс в могилу дед. Ступай к шаману, он вернёт мальчику душу, и тогда сын ваш снова станет здоров и весел.

Послушались родные соседей. Повезли меня к Потёпке. В жертву богам зарезали телёнка и внесли его в дом шамана. В доме увидел я много народу. Старики с головами белее снежных вершин; старухи с морщинами, точно трещины глинистых берегов Сосьвы; ребятишки, юркие, озорные, как белки; степенные мужчины, пугливые женщины – все собрались у Потёпки и сейчас смотрели на меня.

И вот затлел где-то в доме сэныг⁴. Наполнился дом волшебным воздухом, которым дышат только шайтаны в небе. Как исчезает в бурном прозрачном потоке мутная струйка воды, так исчезли, когда затлел саныг, дурные запахи в доме Потёпки.

Потёпка же взял в руки топор и сел в переднем углу.

Но прежде чем сесть, шаман потушил лампу. Стало в доме темно, так темно, точно не было ни-

⁴ Сэныг – нарост на берёзе или осине (когда горит, распространяется приятный запах).

когда на небе луны, точно солнце само себя поглотило!

Было темно, было тихо, все боялись дышать. Знали, в эти минуты шаман собирается говорить с небом, подбирает слова, понятные только богам.

Вдруг услышал я дробные звуки: э-кэ-кэ-кэ-кэ! э-кэ-кэ-кэ-кэ-кэ!

– Слышите? Это шайтан бросает в меня стрелы. Сердится, что долго слов небесных не нахожу!

И опять наступила тишина, такая тишина, точно не было на земле ни людей, ни зверей, ни птиц, ни ветра, ни волн, ни шума лесов.

А потом тихо, почти неуловимо, точно робкое токование тетерева, поплыла по комнате песня. Её пел Потёпка. Медленно, подобно каплям тающего снега, возникали непонятные слова. Постепенно слова становились громче, громче, и вот уже наполнили весь дом пронзительные, непонятные, таинственные слова.

Неожиданно песня разом оборвалась, и Потёпка сказал:

– Недоволен небесный шайтан, недоволен. Маленького телёнка принесли ему в жертву. Надо ещё одного телёнка принести ему завтра в жертву... Ждите! – раздался в темноте голос шамана. – Сейчас прилетят шайтаны. Вы не увидите их, но вы услышите их! И первым прилетит шайтан Ялпус-ойка! Ялпус-ойка! Он единственный, кто может подниматься к богам в небеса и спускаться в

подземное царство нечисти. Вот он! Он близко! Он летит! Всесильный Ялпус-ойка превратился в железную птицу лули. Замрите! Он летит!

И я услышал, и все слышали, как железные крылья лули рассекают со свистом воздух. Свист приближался, становился сильнее, потом вздрогнули стены дома и кто-то ударился о священный стол в священном углу. Я услышал частое тяжёлое дыхание. Так дышит человек после долгого бега с непосильной ношей на спине. То явился шайтан Ялпус-ойка!

Вслед за ним стали являться другие боги. По-разному являлись они. Кто приезжал на оленях – мы слышали скрип полозьев на мёрзлом снегу; кто приезжал на конях – мы слышали грузные шаги под окнами дома. И каждый раз из темноты раздавался голос Потёпки. Он выкрикивал имена шайтанов:

– Ялпус-ойка! Отец всех шайтанов!

– Ас-котиль-яныг-ойка! Повелитель Оби!

– Тагт-талих-отыр! Повелитель верховья Сось-вы!

Называл он и других шайтанов, но я уже не помню сегодня их длинных и трудных имён. С каждым из них Потёпка здоровался:

– Здравствуй, из дальних земель пришедший шайтан!

И все мужчины повторяли в темноте:

– О здравствуй, здравствуй, из дальних земель пришедший шайтан!

Когда собрались все боги, Потёпка начал шаманить.

Снова затянул он песню на небесном языке. Мы же все сидели в страхе, не понимая языка богов. Но потом появились в песне слова понятные, и я разобрал, о чём пел шаман.

– Мало, мало приносите жертв вы богу! Гневаются на вас шайтаны – сыновья небес!

Опять появились в песне таинственные слова, понятные только небу. Но вдруг оборвалась песня, и Потёпка сказал:

– Поводали мне боги: душу мальчика унёс в могилу его дед. Цепкими, костлявыми пальцами держит он душу парнишки и не хочет её выпустить. Но говорящий шайтан Ялпус-ойка внял моим просьбам. Он полетел к могиле старика. Сказали мне шайтаны: ещё немного – и умер бы мальчишка, потому что не может долго жить человек без души.

От этих слов пот начал струиться по моему лицу и волосы зашевелились на моей голове. Вдруг дед не выпустит моей души? Тогда я умру сейчас же, здесь, в доме шайтана! В темноте мерещился мне лежащий в гробу дед, и в скрюченных пальцах его извивалась голубовато-дымчатая душа моя...

Вещи, лица – всё кружится
В зареве багряном
Счастье чище глаз ребенка

В топоре шамана.
Пламя стало по металлу
Кровью растекаться,
То недуги – злые духи –
Топора боятся.

Опять послышался где-то неясный, далёкий звон. Я понял, что Ялпус-ойка летит обратно. Снова железные крылья лули рассекли воздух, снова кто-то ударился о священный стол, и опять послышалось частое дыхание человека, бежавшего долго с тяжёлой поклажей на спине.

– Ему было нелегко! – воскликнул Потёпка. – Ялпус-ойка долго бился за душу мальчишки!

Я сидел, цепenea от страха, и мысли мои путались в голове. Вдруг в священном углублении едва слышный писк.

– Спасённая душа пищит в руках сына бога, – пояснил шаман. – Подведите мальчика к священному столу.

В темноте меня подвели к столу. Я знал, что за столом сидят все шайтаны. Сердце мое, подобно трепещущей рыбке, готово было выскочить из груди. Каждая жилка во мне ликовала: «Я не умру, снова душа живёт в моем теле! Потёпка, всесильный Потёпка вернул мне душу!»

Опять услышал я в темноте голос шамана:

– Боги не забыли тебя, народ манси. Небо смотрит на тебя, народ манси. Не дерзай нарушить

древние законы и обычаи своей земли. Слушай шаманов, народ манси!

Старухи, что сидели вокруг меня, зашептались:

– Счастье, что живёт среди нас такой шаман!

– Без шамана наши души иссохли бы, как сохнет вяленая рыба!

– Боги слушают нашего шамана. Они вернули душу мальчишке!

Двадцать удивительных лет прошло с тех пор. Жил я в самом красивом на земле городе – Ленинграде. Жил я в Ленинграде и вспоминал иногда о шайтанах. И мне не бывало при этом смешно. То было детство... Детство моё и моего народа. А в детстве случается всё. В таинственных лесах живут удивительные феи. В деревьях – злые духи. Реки населены водяными людьми...

Да, в детстве веришь всему. Теперь-то я знаю: не шайтаны меня излечили, и без них бы не умер я. Все знают теперь, что шайтанов на свете нет. Просто случилось так, что болезнь прошла сама. Я же поверил неграмотным старым манси, что Потёпка спас мне жизнь. Поверил, потому что был я тогда ребенком, а в детстве веришь всему.

Но детство не вечно. Я вырос и стал другим. Смотрю на изменившийся мир, и прошлое кажется мне сном ребёнка, где страх и радость, где горе и счастье всегда живут рядом. В иные дни мне каза-

лось, что ничего этого не было: ни шайтанов, ни Потёпки, ни жертвоприношений.

Прошлым летом вернулся в свои родные места и увидел Потёпку. Я не сразу узнал его, потому что встреча моя произошла так. Из окна отцовского дома заметил я на высоком берегу Сосьвы толпу мальчишек. Среди толпы малышей вертелся кто-то большой и неуклюжий. Можно было подумать, что это медведь исполняет мансийский танец.

Мальчишки прыгали вокруг танцора, корчили рожи и гоготали, как осенние гуси. Я вышел из дому посмотреть, кто пляшет в такую рань на берегу Оби. Это оказался Потёпка. Глаза его излучали веселье, неустойчивые руки извивались, взлетали вверх. Он танцевал и пел. А вокруг него прыгали ребята. Они прыгали и задавали Потёпке вопросы. А он отвечал, продолжая плясать.

Мальчишка, не выше маленького оленёнка, спросил протяжно, напевно:

– Почему Гагарин летает по небу? Он не шайтан, он человек. Почему же он так высоко летает? Почему мой отец не может взлететь к небу? Мой отец грамотный, он учитель, а подняться в космос не может.

Потёпка не прервал пляски. Он только чуть-чуть замедлил её и запел в такт своим движениям:

– Маленький, точно палец, мальчик

Задал мне, старику, вопрос:

Почему не шайтан, а человек Гагарин

В небо взлетел, поднялся в космос?
Слушай, маленький, точно палец, мальчик,
Носит Гагарин имя священной птицы гагары,
Потому и взлетел он до самого неба.
Лули эту птицу зовут по-мансийски,
По-русски гагарой её называют.
Выше шайтанов летает в небе Гагарин!
Хорошо, что он носит имя священной птицы
лули!

Хорошо.

Гортанные звуки певца вернули меня к далёкому детству. Это был он, шаман Потёпка. И ребяташки, ростом с маленьких оленей, смеялись над ним, прыгали вокруг него, корчили ему рожицы и ничуть не боялись его. Им было столько же лет, сколько было мне, когда привезли меня, умирающего, в дом Потёпки. Сердце мое трепетало тогда от страха, как трепещет живая плотвичка в руках человека! О, как я боялся шамана Потёпки, как верил в него тогда!

Потёпка кончил плясать и, тяжело дыша, опустился на берег. Я подошёл к нему и поздоровался. Он посмотрел на меня хитрыми выцветшими глазами и спросил, кто я такой. Я сказал:

— Я тот, кому шайтан Ялпус-ойка вернул когда-то душу. Помнишь?

Он снова вскинул на меня быстрый взгляд и отрицательно мотнул головой. Тогда я спросил:

– Что делаешь ты теперь? Разве идут к тебе больные колхозники? Разве привозят они к тебе детей? Вчера я видел больницу в нашей деревне. В больницу, а не к шаману идут нынче больные.

Потёпка легко вскочил на ноги и выкрикнул:

– Больше я не шаман! Теперь я артист!

Сказал и снова пустился в пляс. И снова вокруг него запрыгали ребяташки. Они смеялись над Потёпкой, они гоготали, как гогочут, взлетая, осенние гуси...

Потёпка сказал правду. Он действительно стал артистом, может быть, лучшим артистом манси.

Каждый год проходит теперь в мансийских деревнях смотр художественной самодеятельности. И на сцене нашего сельского клуба, что построен позади школы, я увидел певцов и танцоров родной деревни. Сначала вышел хор. Это был маленький хор – всего десять человек. Он исполнил много песен на мансийском и русском языках. После хора на сцену вышли две девушки в платьях, расшитых мансийским узором. Девушки плавно, подобно орлицам в небе, кружились на клубной сцене. Они танцевали «Куриньку».

Наконец на сцене появился Потёпка. В руках его был санквалтап. Потёпка провел слегка пальцами по струнам звонкого санквалтапа и запел:

Живу, думаю, думаю:

«Трудно человеку жить без колхоза,

Очень плохо жить без колхоза!»

Живу, думаю, думаю:

«Плохо на лодке плыть без мотора!

Грести веслом, как в старину, —

Очень плохо!»

Живу, думаю, думаю:

«Трудно человеку жить без колхоза!

Как зимою пойдёшь в селенье далёкое?

Пешком, как в старину?»

Живу, думаю, думаю:

«Зачем в старину народу шагать?

Вперёд, не назад человеку шагать пристало!»

Живу и думаю, думаю, думаю!

Потёпка пел, а санквалтап его звенел, как ручей, завывал, как буря, шумел, как лес на ветру, щебетал, как птицы на рассвете.

Он пел и рассказывал в песнях о своей извилистой жизни. Пел о том, как ушёл он от новой жизни в тайгу, чтобы жить с одними деревьями, чтобы жить с деревянными идолами. Но затосковал он в тайге. Нет, не понимали деревья человека. И птицы человека не понимали. А идолы без людей оказались бессильными и не могли творить никаких чудес. И тогда вернулся Потёпка в деревню, чтобы жить со всеми, чтобы веселить песней сердца и души людей.

Кончил Потёпка петь, замолк его санквалтап. И тогда все стали говорить, что Потёпка пел хорошо, что Потёпка пел правильно, что Потёпку

надо отправить в округ, куда съедутся лучшие артисты манси.

А древняя старуха с головою белее снега не отрывала колючих маленьких глаз от Потёпки. Она следила за каждым его движением и, кривя беззубый рот, злобно шамкала:

– Пляши, пляши! Шайтан покинул тебя и никогда не вернётся к тебе! Смотрите, до какого позора дошёл Потёпка!

Снова услышал я Потёпку в окружном центре. Он вышел на сцену, и многие усмехнулись в зале. Помнили люди: Потёпка – бывший шаман.

Потёпка скользнул пальцами по санквалтапу и запел «Песню летящих гусей».

И все, кто был в зале, услышали, как сильные, гордые птицы рассекают крыльями воздух, и мы ощутили бескрайний простор небес и счастье полёта под облаками.

Я прикрыл глаза и вновь, как в детстве, оказался во власти Потёпки. Снова услышал я, как железные крылья Ялпус-ойки рассекают со свистом воздух, вновь ощутил я дыхание шайтана, прилетевшего в тёмную комнату шамана.

Наваждение растаяло, когда я открыл глаза. Передо мною была большая сцена, украшенная благородным орнаментом манси. А на сцене пел и играл на древнем мансийском инструменте седоватый человек. Зал восторженно слушал его, забыв мелочные заботы. Всё, о чём пел Потёпка,

люди начинали видеть своими глазами. Только подлинный талант может свершить такое чудо. И я был свидетелем этого чуда...

«Шайтан покинул тебя и никогда не вернётся к тебе», – вспомнил я слова старухи.

Неверно сказала старуха. Не боги покинули Потёпку, а Потёпка не захотел больше жить с богами. Он ушёл к людям.

Будет ли Йикор человеком?

В ту памятную ночь волки загрызли двенадцать оленей. На следующую ночь охрану усилили. Один серый попал в капкан. Но к отравленной приманке волки так и не притронулись: хитрые твари, нажрутсЯ в первую ночь.

Хоть и ярко горели костры, и чернели на лунном снегу пугала, хоть и освещали небо ракетницы, волки всё же подкрались к стаду и загрызли ещё трех оленей. Но пастухи не дремали. Ай-от и Потёпка меткими выстрелами уложили трёх зверей. Два других волка, почувствовав свою кровь убежали. На следующую ночь они не появлялись.

В эти дни олени были возбуждены, плохо щипали вкусный ягель. В сторону Урала мы продвинулись лишь километров на десять. Оленям нужен был отдых. Обойдя стадо, Микуль заметил, что нет некоторых оленей. Видно, отбились от стада, когда волки напали. Надо найти и вернуть их, пока на след не напали звери.

По одним следам вызвался идти Йикор, по другим Потёпка.

Потёпка вернулся в тот же вечер, пригнав десять оленей. Они, оказывается, были совсем недалеко, километрах в пятнадцати от чума, на южном берегу лесной речки, где снег подтаял, щипали зеленую прошлогоднюю траву.

Олени любят зелень!

А Йикора не было. Думали, придёт к утру. Но он не пришёл. Не вернулся Йикор и на следующий день. Мы уже откочевали очередные семнадцать или двадцать километров. Не могли же стоять на одном месте. Весна наступает. Скорее нужно добраться до мест отёла. На месте стоянки чума оставили записку. Да и не так уж далеко отошли. Йикор сразу нашёл бы нас по следу.

Стали волноваться. К тому же ночью была метель. Следы замело. В тайге легко заплутаться. Особенно неопытному и подслеповатому Йикору. Да ещё волки. Ближайшие сорок-пятьдесят километров объездили вдоль и поперёк, но не нашли ни оленей, ни Йикора.

Микуль хмурился. Он, наверно, ругал себя, что согласился послать Йикора. Погибнет человек. Хоть плохой Йикор, но всё же человек.

Йикор... Он не любит работать в колхозе. Летом ловит в Оби серебристых муксунов, гранёных осетров и не сдает государству, а садится на огненную лодку – белый теплоход: там любят рыбу...

И ездит Йикор на белых лодках далеко-далеко, слушает песни, разные истории. Даже в городах каменных бывает. Он знает обо всём. Приезжает домой, долго рассказывает, над всеми сородичами смеётся.

Приедут судьи – Йикор, как налим, выскользнет из их рук: все законы знает!

Люди говорят: не Йикор продает рыбу, продает рыбу злой дух Куль, который сидит в нём! Не Йикор над людьми смеётся – смеётся дух подземного царства Куль! Надо выбить из него этот дух, надо сделать Йикора человеком! Ведь каждый может найти свою совесть и искупить вину перед людьми.

И колхозники решили расправиться с ним своим судом – направили в кочевье, на Урал. Тяжёлый труд и безлюдная дорога выбьют из него злого духа Куля. Так вот Йикор и оказался с нами.

Каждый воспринимал исчезновение Йикора по-своему. Тётя Сана ругала Микуля:

– Тоже нашёл кого посылать. Лучше сам пошёл бы!

Микуль хмуро молчал.

– Куль, злой дух, наверно, водит его по тайге, – говорила, вздыхая, Яныг-турпка-эква. – Такая у него, уж видно, судьба. Бедный человек!..

– Куль, конечно, Куль его водит. Да он и сам Куль, – смеётся Ларкин. – А мы ещё столько

ищем, беспокоимся... Стоит ли? Ведь всё равно судьба!..

– Человек!.. Даже самый плохой. Он всё же человек! Его надо найти... Хотя бы косточки. Похоронить надо... А то грех. Людям так нельзя!..

Я не узнавал Вун-ай-ики. Он с почтением говорил о Йикоре. Только вчера косился на него, презирал. А теперь...

А может, все старики так относятся к мёртвым?

– Если человека не уважали живым, то надо хотя бы теплее проводить его в другую жизнь, в подземное небо. У него тоже сердце. Всё же человек! Нельзя смеяться над горем, – продолжал Вун-ай-ики.

Когда Микуль предложил мужчинам отправиться на поиски, Ларкин отказался.

Мне было стыдно за него. С недоумением смотрели на него Арсентий и Итья Татъя, Она вызвалась идти на поиски Йикора.

Мы уже собрались, когда за чумом раздался дружный, радостный лай собак. Все стрелой вылетели из чума. Даже Яныг-турпка-эква и Вун-ай-ики вышли. Собаки радостно повизгивали в сторону таёжной речки. Скоро показались олени, а за ними и Йикор. Он тяжело передвигал лыжи по хрустящему утреннему снегу. В усталых, слезящихся глазках его – искорки счастья.

Микуль сразу же как-то преобразился, словно сбросил тяжёлый камень, с восхищением смотрел на него маленький Епа. И даже всегда недовольный Вун-ай-ики потеплел.

Как же не потеплеть сердцу, если даже смешной Йикор смог выстоять против морозных ночей в безлюдной тайге, пасти оленей от волков и, не смотря на метель, найти дорогу к людям.

Старики когда-то говорили: не Йикор продает рыбу, продает рыбу злой дух Куль, который сидит в нём! Не Йикор над людьми смеётся – смеётся дух подземного царства Куль. Надо выбить из него этот дух – надо сделать его человеком! Ведь каждый может добрыми делами искупить вину перед людьми!

Никакого Куля, конечно, нет. Это сказки. А плохой человек Йикор был. И правда, каждый сможет найти свою совесть и стать человеком! Будет ли Йикор человеком?..

А тайн на земле так много...

*Нужны мне крылья, да ещё дорога,
Которой нет и не было длинней.
Пусть бьётся в сердце радость и тревога,
Пускай звучит, как песня, скрип саней.*

Это играет санквалтап?

Нет! Это поют и рассказывают сказки восемь женщин, а двое пишут.

Кто эти женщины?

Женщин нет: это поёт нарта с восемью ногами и двумя полозьями. Нарте подпевает тающий снег. Песня её длинная-длинная, – я уже устал слушать. Песня её монотонная-монотонная, как старинная жизнь. Не хочу я жить такой жизнью. Что это такое: изо дня в день олени бредут, бредут, перекашиваются, как тяжёлые камни. Где-то летят космические корабли – и жизнь летит. А мне медленно, как мамонты, выросшие в землю, кивают древние кедры.

Сколько этим кедром?

Наверно, лет триста!

Кедры кивают мне и нараспев рассказывают сказки, которые они слышали ещё от своих дедов. Они рассказывают о дороге, по которой мы движемся к Уралу.

«Не первый ты едешь по этой дороге, – тянет кедр под скрип полозьев. – По этой дороге ездил ещё Тэк-ики. Это было давно-давно – во времена песен, во времена сказок».

В мансийском ли городе, в хантыйской ли деревне женщины, как обычно, кололи дрова, носили воду или просто гуляли меж домами. Вдруг на чистом зимнем небе выросло облако. Оно стало расти, расти. Над деревней превратилось в тучу чёрную, закрыв своей спиной солнце. Туча, как ястреб, рванулась вниз, схватила ногтями самую молодую, самую красивую женщину – невестку Тэк-ики, полетела...

Это была не туча, а Курк – орёл огромный.

Люди всполошились.

Тэк-ики схватил лук, натянул тетиву и стрелой с толстым наконечником отбил у Курка с правой ноги три ногтя. Но Курк улетел, унёс самую красивую молодую женщину. Курк летел – сияние слабело. Вот оно превратилось в маленькую-маленькую звёздочку. Люди заметили: он стал приземляться за Уралом, в стране, где живут саран⁵ – торговые белые люди.

Тэк-ики сказал брату Ай-ас-торуму:

– Почему ты свою жену не защитил? Надо пойти искать её.

Брат сказал:

– Какой силой я её буду защищать? Пойду – убьют!

– Ты хочешь, чтобы наш народ был уничтожен, а богатыри появились за Уралом: ведь твоя жена рождает богатырей, поэтому её и утащили, – сказал Тэк-ики.

И Тэк-ики запряг оленей и поехал в сторону, где погасла звезда, погасло сияние красоты снохи.

Долго ли снег хрустел под его нартами, коротко ли кедры кивали ему кудрявыми головами, наконец доехал он до высокого дома, что стоял на берегу лесного озера за большими болотами на середине пути до высокого Кев-ики – старика

⁵ Саран – коми-зыряне, с которыми угры в древности часто вели войны из-за невест, пастбищ.

Урала. Дом этот был не простой: в нём жили двести Менквов. Нарта Тэк-ики пела песню ещё за семью болотами, а Менквы-людоеды уже спорили. Самый молодой говорил: «Я съем его глаз!» Другой говорил: «Нет, я!» Третий говорил: «Да что вы спорите – разве вы почувствуете запах капли крови! Что для нас, людоедов, один глаз!...»

Не успел Менкв закрыть рот, тяжёлая дверь открывается, как пушинка, – на пороге стоит отыр-богатырь Тэк-ики, Заносчивые Менквы вдруг оробели: один прячется за спину другого.

– Ну, кто будет есть мои глаза? – говорит Тэк-ики, вынимая из ножен сияющий серп луны – богатырскую саблю.

У всех словно уже отрублены языки – ни слова.

Ходить стала сабля по головам Менквов, как вода между травами. Всех людоедов перерубил Тэк-ики. Тела их лежали в шесть рядов, как брёвна, сложенные в плоты.

Хотел уже уходить Тэк-ики, как вдруг подумал: «А если убрать всех убитых, помыть дом – на обратном пути будет, где остановиться и отдохнуть: ведь дом лучше, чем чум. И другим охотникам будет хорошо!» И как подумал, так и сделал. Прибрал, помыл – всё засверкало. И сил стало так много, словно отдохнул в родном доме, пахнувшем янтарными каплями смолы.

И сказал Тэк-ики громче грома, чтобы слышали все деревья, чтоб несли звуки все ветры во все стороны и во все века:

– Когда настанет доброе время, когда родится счастливый человеческий век, там, где Менквлюдоед уронил печень, там, где отыр Тэк-ики набирал силу, пусть будет место отдыха людей, пусть будет там дом доставать до туч, пусть люди видят хорошие сны и набирают силы для большой дороги!

Сказал и поехал дальше за невесткой. Долго ли ехал, коротко ли ехал – перед ним выше туч за-сверкали волосы Нёр-ойки – старика Урала. Как проедешь мимо, как не зайдешь в небесный город, коль в нём живёт друг людей – Нёр-ойка!

Город со звёздами на крышах, с острыми башнями, над которыми выются разноцветные пылающие платки дочерей Нёр-ойки⁶. Хозяин угостил Тэк-ики мороженой крылатой рыбой – хариусом и горячим чаем, пахнущим морошкой. И сказал Нёр-ойка:

– Биться-воевать за родного человека надо. Только не разрушайте жилища. Разрушать жилище – как дунуть на мыльный пузырь; построить – как вырастить кедр. Воюйте, но мой каменный город не разрушайте! А ещё лучше, – наказывал Нёр-ойка, – воевать умом, а не силой. Поедешь ты сейчас, спустишься с моих плеч – увидишь широ-

⁶ Пылающие платки дочерей Нёр-ойки – северное сияние.

кий плёс реки и длинный мыс с деревьями, чуть касающимися белых облаков. За мысом — город. В нём живут саран. У них и твоя невестка. Ты до города не езди на оленях. Оставь оленей над обрывом у мыса. Это тебе пригодится.

Так и сделал Тэк-ики. Не поехал на оленях в город.

Привязал своих рогатых помощников над обрывом в густом ельнике. Пошёл в город пешком.

Вошёл он в дом невестки. Она выходит из-за шёлкового полога, обнимаются-целуются.

— Зря ты пришёл один, — говорит она. — Тебя убьют. Входят две женщины в платках, повязанных вокруг головы. Говорят долго-долго на непонятном языке. Потом выходят, приходят снова, и опять говорят, и не смотрят на Тэк-ики. В третий раз вышли. Собралась выходить и невестка.

— Тебя хотят убить дымом, дом подожжён. Будет тяжело — иди в мой полог. За пологом доска — открой, и там спасешься, — сказала шёпотом невестка.

Только-только вышла она, как уже душно стало от дыма. Дым щекотал ноздри, из глаз бежали ручьи. Душно стало. Пошёл Тэк-ики за полог невестки, открыл доску, свалился в какую-то яму в рост человека и побежал. Долго ли колола темнота его глаза, коротко ли колола глаза темнота — наконец показался свет. Тэк-ики отпрянул от него, подумал: «А может, враги стреляют яркими луча-

ми». Посмотрел – нет никого. Впереди тот самый обрыв. Над обрывом – ельник, в ельнике – олени, у оленей уже стоит невестка.

Сели они в нарту, поехали на другую сторону реки.

Напротив города Тэк-ики остановился и закричал:

– Из вашей ловушки, приготовленной для меня, я ушёл; а как вы уйдёте из моей ловушки, которую я придумаю для вас?

Сказал, и застучали копыта, заиграла выюга – так полетели нарты, помчались к дому родному олени.

Мчались они той же дорогой через горы, болота, леса... Много раз солнце раскрывало глаза и сияло над деревьями. Устали, наверно, плясать луна и звёзды на ветвистых рогах – так долго летели олени... уже тонкой ниточкой только что народившегося месяца стали глаза Тэк-ики – так долго он не спал.

И не долетели бы олени до родного дома, и не родила бы больше невестка сыновей-богатырей, и не было бы на свете манси, если бы не тот дом, который вымыл Тэк-ики на пути вперёд, если бы не подумал он тогда о будущем. В том доме они отдыхали семь ночей и дней, и сила пришла в тело, и разум просветлел, и душа снова приготовилась к битвам.

И сказал тогда опять Тэк-ики громче грома, чтобы слышали все деревья, чтоб ветры несли пророческие звуки во все стороны и во все века:

– Когда настанет доброе время, когда родится счастливый человеческий век, там, где Менквы уронили печень, где отыр Тэк-ики набирал силу, пусть будет место отдыха людей, пусть стоит дом вышиной до туч, пусть люди видят хорошие сны и набирают силы-разума для большой дороги!..

Доброе время настало, счастливый человеческий век родился: теперь я еду не за невесткой, которая должна родить богатырей, а чтоб из двух тысяч оленей на щедрых плечах Нёр-ойки стало три тысячи рогатых. И нет ни у кого сабель, и злобы нет ни у кого. Лучшие друзья мои – саран. Их стада сзади нас идут. Мы кочуем по одной дороге... Доброе время настало, счастливый век пришёл: в дружбе живут все народы.

...А дом дружбы, дом отдыха оленеводов на этой дороге будет. Хорошая мечта сбывается.

А было время – здесь сверкали не рога тучных оленей, а сабли. И ходила по ней злоба и вражда. Манси и ханты воевали с соседями – коми и ненцами. Кровь лилась. Страшно!.. Но всё это было, было, было...

Это я знаю по легендам, которые таит каждое священное место, каждое кладбище, каждый камень, каждое дерево...

На этом островке, что возвышается над лысыми тонкими болотами, в лесу, стройном и тенистом, священное место оленеводов. Средь высоких деревьев, как одноногий таёжный глухарь, стоит сумьях⁷. Толстый ствол кедра – надёжная нога – крепко держит его над землей... Перед сумьяхом – место для костра и пиршеств. А вокруг деревянные идолы. Их столько, сколько раз приносили люди жертвы и пировали. Средь тенистых ветвей вытянуты тугие лучи. В домике тоже идолы. Только они нарядные. В соболиных шапках, в цветных сукнах. Это духи. У них есть имена... Много шкурок соболей, лисиц, куниц... И, конечно, множество монет: и самых древних, и не древних, и золотых, и серебряных, и медных. Много и других драгоценностей.

Веками сюда несли люди свои дары, чтобы в случае народной беды было чем воспользоваться. Здесь хранилище добра, священное место.

А на берегу речки – кладбище. Когда-то тут жили манси. Они или вымерли, или ушли. Осталось только кладбище. Оно тоже много расскажет. Ведь на кладбище всё так же, как и в деревне у живых. Могилы, как домики, стоят рядом. В центре – площадка для разжигания костра, для пиршеств и плачей. В могиле – небольшом деревян-

⁷ Сумьях – домик на стволе кедра (домик на курьих ножках).

ном срубе – лодка. Это гроб. Ведь душа будет плыть. Отбыв какой-то срок в могиле, душа поплывёт за море, в новое своё царство. Потому покойников хоронили в лодке и ставили в деревянный сруб, похожий на домик. Сверху засыпали землёй, чтобы вода стекала в обе стороны. У изголовья – маленькое окошечко. В него можно просунуть руку и положить табаку, если человек курил, покрошить рыбки. Словом, приносили во время поминок и плачей всё, что человек любил.

Вот лежит камень с загадочными рисунками. Проезжий остановится, в молчании опустит голову, бросит монету звенящую или кольцо блестящее. И камень заговорит тихим каменным звоном, что богатырь Тэк-ики тысячу лет назад пролил здесь свою кровь и победил чудовище, которое пришло на землю его со злым, коварным умыслом.

И до сих пор манси и ханты каждые семь лет в одной из деревень вспоминают героя, славят его торжественным ритуалом и страстной пляской.

А что это такое? Надо думать, думать, думать...

А чтобы думалось – надо искать и ехать! Ближе ли, далеко ли – только ехать и пристальным взглядом вглядываться в жизнь. И тогда всё раскроешь, всё поймешь! А всё понять – счастье!..

Перекатываются, как камни, олени, скрипят полозья, под недрами кружатся снежинки. Сне-

жинки тихие-тихие. Их много. Они что-то шепчут. Это сказки и легенды. По земле ходят легенды. По дороге ходит жизнь. Надо о ней рассказать.

Стучат копыта оленей. Полозья поют песню... Я еду, еду, еду...

Сказка

*Голова моя – ковшик для чистой воды.
Крепкий хвостик. – корытце для псиной еды.
Язычок мой – весёлой калданки весло,
А крыло – самолета цветное крыло.
Лапка – курья ножонка курьей избушки лесной,
Спинка – лодка рыбачья с красивой каймой.
Острый носик мой по льду стучит, как пешня
Зачирикал, забулькал я – слышишь меня?*

Белой птицей летает выюга, белым клювом в чум стучится, и завывает, и завывает...

Кажется, нет конца этой песне, кажется, нет конца этой сказке... А в чуме – тоже сказка.

– И золотое солнце по земле ходит, и злая выюга по земле ходит. Есть в мире добрые духи – Миснэ и Мисхум, есть и злой дух – Куль. Вот вы не верите, не верите, а Куль всё же есть. Даже среди людей, – рассказывает в лад выюге Яныгтурпка-эква. – Было это в деревне, где дома; как деревья, стоят на месте, не кочуют, как чумы.

Жила там одна добрая женщина. Пошла она в лес за дровами. В светлом лесу, где одни берёзы, она вдруг слышит не плач гагары и не плач щенка, а жалобный детский плач. Посмотрела – правда

ребёнок! И как может пройти добрая женщина! Стала она кормить его, стала матерью.

Голова у него большая, больше чугунного котла. А туловище маленькое, меньше вяленой щуки. Однажды взял его дедушка на рыбалку – Куль рыбу съел. Взяли его на охоту – всё, что убили, один съел. Проходил мимо хозяин леса, лесник, – он и лесника убил...

Белой птицей летает вьюга, белым клювом в чум стучится, и воет, и воет. Яныг-турпка-эква тоже завывает. Жилистые руки её дрожат. Дымок почерневшей трубки дрожит. Бледные потрескавшиеся губы её трясутся, и вся она в ужасе дрожит.

Потёпка, подшивая прохудившиеся свои кисы, лукаво поглядывает на окружающих: не обвинят ли остальные и его за такое невежество? Кто теперь верит в Куля? Разве только тётя Сана и Окра? Кто всерьёз в этот бумажный век воспринимает такие легенды? Потёпка подшивает кисы, бывшие кисы жены, женские кисы. Нельзя было мужчинам носить обувь, которую надевали «поганые» женщины. В бригаде и теперь никто не надевает женские кисы, а Потёпка уже носит.

Завывает вьюга, завывает Яныг-турпка-эква.

Потёпка, конечно, косится. Люди долго помнят прошлое...

– Приехал в деревню высокий человек, большой человек, как главный олень, кожаными ремнями опоясанный, – продолжала Яныг-турпка-

эква. – На боку у него маленькое ружьё. Зовут этого человека Милица. Это сильный человек, смелый человек. Смелее волка он, сильнее медведя. Увёз он Куля в тёмный дом⁸, где держат людей, потерявших совесть. Думали: уж этот человек справится с нечистью!

Увезли... Там Куль стал хитрее росوماхи, наглее росوماхи. У мудрых людей взял их хитрость. У наглых людей взял их наглость. У мудрых людей есть говорящие ящики – радиво. И он себе тоже сделал радиво. Радиво его маленькое, как муха. Летает оно, как муха, жужжит оно, как муха.

Когда Милица спит, радиво подлетает к нему и жужжит. Слова Куля жужжит, мысли Куля жужжит. Пугал Куль Милицу, навевал ему тяжёлые сны, звал его в тёмный дом...

Йикор, сидящий на бревнышке, ухмыляется. Красные, как у тетерева, глаза его сделались ещё краснее. В них сверкают две крупные слезинки. Это, наверное, слезы смеха: городит старушка чепуху, всё на свете перемешала – и Куля, и мать, и лесника, и радио, и милицию.

– Пришёл в темный дом Милица – то же самое слышит. Куда ни повернётся, говорит злое радиво, и Милица тоже стал говорить, много говорить...

И все люди сказали: «Язык у Милицы неправильно вертится. Коль язык вертится, то и голова

⁸ Тёмный дом – тюрьма.

вертится. Надо голову поставить на место». И Милицу связали, а Куля отпустили домой.

Милица – сильный человек, он справился бы с медведем, справился бы с волком. А с нечистью, с Кулем, даже Милица не справился. Куль есть Куль... Даже самых сильных валит, превращает в подстилку, которую топчут ногами. Появится он рядом – летят уже плевки и ехидный смех... Даже самых сильных он валит!..

Белой птицей летает вьюга, белым клювом в чум стучится, стучится и завывает, завывает. И хотя трещит от смолистых дров печка, и хотя жар лёгкими руками ветерка касается лица моего, мне холодно. Другим, быть может, тоже холодно?

– Пришёл домой Куль. Пришёл к той, которая его вскормила. Много видел Куль. Много речей слышал он. Многому научился, многому разучился. Хороший человек берёт от других доброе. Дурной человек берёт себе подобное.

Пришёл домой Куль – места себе не находит, возится со своим радиово, над матерью смеётся. И говорить мать стала, как радиово, плакать, смеяться стала. И люди сказали о матери: «Между двух сторон попала она, помешалась». Смеяться стали плохие, а хорошие доброго не могли сказать... Хорошее дитя запах молока до седин помнит, у доброго человека цвет молока пробивается под вечер жизни в волосы, в седины...

Белой птицей летает вьюга, белым клювом в чум стучится, и завывает, и завывает... А Яныг-турпка-эква уже не завывает. И дымок почерневшей от времени трубки уже не дрожит, бледные потрескавшиеся губы сжаты, лишь из поблёкших глаз с морщины на морщину медленно перебираются тяжёлые слёзы.

Холодно. В углу глубоко вздохнул Силька. Он сидит с опущенной головой. Давно он ходит с опущенной головой. Кажется, давно-давно потерял он улыбку и язык. Лишь иногда вздыхает и всё молчит... Молчит как камень...

Неужели он камень?

Силька

Над кедррами кружится снег, по кедрам гуляет ветер, под кедром скачет соболь. То он, как кошка, согнёт спину, то летит, как белка, то пляшет на ветвях, как бурундук на утренней и вечерней заре он выходит из гнезда. А гнездо тёплое, надёжное. Нёхс пити – зовут манси гнездо соболя. Нехс пити – называют манси свой дом, если в нём есть счастье, тепло. Тепло соболиного дома охраняют корни могучего кедра. Из-под них соболь выходит осторожно, прислушиваясь: не сыплется ли снег с веток, не резвится ли там белка или бурундук?

А может быть, здесь есть враги: острокрылый ястреб и охотник? Он боится ястреба. Когти. Боль в боках. А охотник? У него есть собака. Не уй-дешь, если снег не глубокий.

А сеть охотника – она стоглазая. Не заметишь её – запутаешься. Охотник навалится. Потому соболь осторожен. Лапки его неслышно рисуют узоры на снегу. Соболь жаждет мяса и крови. А охотник – его шкуру. Он тут как тут.

А кто охотник?

Силька... Селиверст... Лучший охотник колхоза.

Не уйдёт соболь! Охотник – манси! Глаза чуть с прищуром. Брови – как крылья ястреба. И во взгляде что-то ястребиное. Не уйдёт соболь!

У Сильки пояс с узорами. На поясе – сипаль⁹ с острым ножом и зубы медведей. Зубов много. Медведи не уходили. Немцы от его выстрелов не уходили. Соболь не уйдёт!

Немцы... Фашисты... Сорок первый год. Подмосковье.

Курская дуга. Варшава, Берлин... Фашисты... Тяжело! Но он манси. Всегда снег и ветер, дорога и шалаш. Ему ли привыкать к трудностям и непогоде! Он плакать не умеет. Но он не кедр. Сердце есть у Сильки. Иногда оно плачет. Но Силька не плачет. Он стоек, как кедр. Ему ли привыкать бороться, искать и побеждать! Манси он! Недаром в роте называли: «Молодец! Снайпер!» Соболь не уйдет.

⁹ Сипаль – ножны.

Тихо, тихо. Лишь поскрипывают обтянутые золотистым камусом лыжи да похрустывает снег. И вдруг лай собаки!

Мелькнул пушистый хвост соболя. Мелькнул и растаял в искрах утреннего голубого снега. Издали доносится жалобный визг. Скулит собака. Снег глубокий. Вязнет она. А запах соболя дразнит её.

Соболь ушёл. Но найдено его жилище – нёхс пити. Нёхс пити есть – счастье есть! Соболь не уйдет! Такой характер у Сильки.

Вернулся он из армии после войны. Влюбился. Влюбился в Насту. Она за годы войны подросла. Глаза, как спелые смородинки, чёрные. Лицо – белее зимнего зайца. А косы длинные, звенящие¹⁰.

А любила ли она?

Откуда знать Сильке. Она ведь – как зимняя речка.

Неизвестно, что под снегом и льдом. Может быть, там играют весёлые струи нежной воды, которые так умеют ласкать человека в жаркий летний полдень. А может быть, там только лёд и песок.

Не понять Насту. Всё она с этим молодым учителем.

Под вечер соберут народ в клубе, и учитель, сверкая стеклянными глазами, приставленными к настоящим, доказывает, что нет никаких богов, что их придумали попы, шаманы, богачи, чтобы удержать простых людей в повиновении. Конечно,

¹⁰ Мансийки в косы вплетают кольца, монеты.

не все верят. Особенно старухи. Но молодые верят: так красиво, так понятно он говорит. Трудно возразить, Сильке он нравится. Он даже иногда завидует учителю: ведь почти рядом с ним за столом, покрытым красной материей, сидит Наста. Она председательствует.

Хорошо учителю: он с Настой как рыба в воде. Сидит Силька. Тяжело сердцу. В голове, как белки, скачут мысли: «А не любит ли она учителя? Что в нём она нашла?

Может, любит за то, что тот читает книги и говорит красиво?

Ну что же. Пусть! Умеет ли он, как Силька, стрелять, управлять оленями, ходить на лыжах, ловить рыбу? Сумеет ли справиться с медведем? Нет, не сумеет! Как же может мансийка любить его?

Всю осень по снежной пороше, как ветер, гулял по тайге, охотился. Гонял соболя и бил белку. А любовь, как мороз в зимнюю ночь, все подступала к сердцу, морозила. Нет, не остынет Силька! Не такой у него характер. Соболю не уходил. Наста не уйдет!

Он сказал ей о своей любви. И женился быстрее, чем в сказке. И не потому, что только он хотел этого. Нет. Он видел и раньше, что её глаза теплее солнца смотрели на него.

Оказалось, легко жениться. Жить труднее. Не остывала ревность к молодому учителю: у него книги, очки...

Как с ним состязаться? Силька пошёл в оленеводческую бригаду колхоза. Там, где горы, где человек достигает облаков, там выше человек, там виднее человек, Наста узнает его лучше и любить будет крепче.

Два года они ездили по Уралу. С марта, когда солнце становилось щедрее, а снег ярче, они уезжали на Урал.

И каждый день раздавалось милое: «Э-э-эй! Э-э-эй!»

И тысячи копыт стучали о мартовские звёзды, снега. Стадо по тайге двигалось к Уралу. А сзади нарты с хлебом и одеждой, радиоприемником и сахаром.

В одной из нарт, в красивой сахе, расшитой узорами, сидит Наста – медик бригады. Снег, снег, снег... Глаза её кажутся ещё чернее. Они сияют. В руках хорей.

Мчатся олени
Кованым настом,
В нартах, как дома,
Девушка Наста,
Скачет хорей
У неё в рукавицах.
Мчится упряжка,
Мчится, как птица.

Ветер родился,
Ветер вздохнул,
В облаке снега
Путь утонул.
Наста дорогу
Сызмала знает,
Вьюг не боится,
Вёрст не считает.

И впереди снег и солнце, кедры и дорога...
Дорога, дорога!

А там где-то вдруг выскочит Урал. Зашумят прозрачные, как бусинки, речки. На оленей и на Насту они сыплют прозрачный бисер...

Урал. Склоны. Цветы. Хорошо! По склонам – олени.

Их тысячи. Как цветы они. И белые, и с чёрными пятнами, и серые. Гордые, ходят над облаками. И воздух чистый, легкий, и ягоды вкусные, и Силька нежен.

– Эй, жизнь! – восклицает Наста – Ёмас! Силька, ёмас!

А он, гордый, ходит там, над облаками. Силька спустится с гор. Обнимет. У Насты сияют глаза!.. Любовь...

Зачем же тогда горы, если есть любовь?.. В тайгу! В тайгу! Туда, где сияет Обь серебристой гладью, где плещется сырок и стреляют язи. Туда, туда! В край соболя!

Стали жить в деревне. Силька построил дом. Колхоз помог. Дом красивый. С белыми покрашенными окнами. Как крылья, над домом взвились лосиные рога. «Охотник живёт здесь, – говорят они. – Манси живёт. Счастье в этом доме есть».

Дом большой, в нём четыре комнаты. Налево – кухня, направо – комната для гостей. Третья – мансийская комната: в ней висят ружья, шкурки лисиц и горноста. Четвёртая – русская комната. Между двух окон – большое зеркало. В него смотрится Наста. Перед зеркалом стол со скатертью. Так Наста придумала. В углу этажерка. На ней часы. Они стучат днём и ночью. А утром звонят. И Наста встаёт. Умные часы, и Наста умная. Хорошая Наста. Она подарила Сильке сына. Сын! Он будет охотником! Настоящим мансийцем!

Зимой он убьёт медведя. Вся деревня – и мал, и стар, и председатель сельсовета, и учитель – будет встречать его. Комья полетят в него, лицо покраснеет, загорится. А люди, как дети, будут резвиться, играть, и снег заиграет. Счастье будет.

Молодой охотник едет,
Слышен крик из края в край:
«Я убил в лесу медведя!
Сэли воли йо! Встречай!»
Открывают люди двери,
Выбегают из домов –
На лесного смотрят зверя,

Не боясь его зубов.
Зверя трогают руками,
Зверю смотрят прямо в пасть,
И снежками, и снежками
Все хотят в него попасть.

А может, сын станет председателем колхоза? Не нравится Сильке этот председатель. Слишком мягкотел. Лодыри не слушаются. А сын – он будет твёрдый. Сказал – и всё! И колхоз ещё богаче станет. Моторы стучат. Люди невод кидают. Рыбу сдают. Работают машины. Людям легко. Хорошо!

А может, сын будет учёным? Как тот, что приезжал с мудрой машинкой и записывал песни. И глаза умные, как у оленя.

Живет Силька. Хорошо ему. И дом, и сын, и соболь скачет, и Наста любит. Наста! Она какая-то странная, непонятная. Вовсе не манси она. И отец манси, и мать манси. А она? То тихая-тихая. Смотрит в книгу, о чём-то думает. То вдруг глаза её засияют, заискрятся. Будто звёзды летят. И она смеётся, и ласковая такая. Сядет рядом. То погладит чуть выющиеся волосы, то заглянет в глаза. Тепло-тепло станет. Но нет, бывает и холодно. Странная она. Мансийка, а как будто мансийских законов не знает: лазила на крышу. Ведь она женщина. Разве можно? Сейчас старые манси не хотят в дом войти. Заходят только молодые.

Приезжают отец с матерью с каслания и недовольны.

Особенно мать. Она старая. При белом царе была уже взрослой. Посмотрит на Сильку с укором, скажет: «Эх, Силька, Силька! Женился. На ком женился! Мансийка, а лазит на крышу. Урас! Урас!»¹¹

С тех пор начались нелады в семье. Семьи не стало.

Наста ушла. Ходит Силька один по дому. Дом опустел. Холодно. За окном, распустив белую бороду, поёт дед Север – северный ветер. Раньше Силька его не замечал. А сейчас он надоел. Так и поет. «Эх, Си-и-и-и-илька! Соболь от тебя не уходи-и-и-ил. Фашист от тебя не уходил! А жена ушла-а-а! Эх, Си-и-и-и-и-илька!»

И Силька тоже ушёл из дому. Думал, в каслании – в вечной дороге – будет легче. Да и родные рядом... Но и среди мелькающих деревьев тоже оказалось холодно.

Холодно сердцу. А почему? Потому что Силька старался сохранить в чистоте представление о мансийской чести, угождая матери? Теперь холодно... Неужели в сердце Сильки родится ненависть к матери, к той, что родила его, носила за спиной и в берестяной люльке, вырастила? А за чумом поёт и поёт дед Север, и по земле расстилается его белая борода. В ней запутались деревья, тёплые струйки дыма. Запутался и Силька. Холодно. Соболь не уходил, а жена ушла. Ушёл от него близкий, родной человек. Прожить ли ему без

¹¹ Урас – беда, наваждение, несчастье.

ласкового ветра, без солнечных тёплых глаз? Нет! Она перед глазами, она в памяти. В чём же виновата она, в чем же виноват он?

Как лодка из-за мыса, выплывает в памяти ревность к молодому учителю. Ревность безглазая, глупая. Ничего не было. Была простая дружба двух людей, связанных общей работой. А он ревновал. Терзал её тяжёлым мансийским молчанием. Кого терзал? Терзал Насту, простую мансийку, доверчивую, как котёнок, ласковую, как весна. Но всё это было давно. Всё, наверно, сгладилось.

Холодно Сильке. Вдруг... он услышал в душе знакомый поющий голос. Нет, это пел не дед Север, не северный ветер. Вспомнилось ему детство. Тогда было тепло. Как хорошо было валяться на тёплой постели из шкур и слушать седого, как Урал, гордого деда! К нему ходили манси. Они просили его, чтобы он поговорил с богом. Боги всё могут: и разогнать злых духов, разносящих болезни, и дать хорошую добычу на охоте и счастье в любви и в жизни... И дед исполнял желания людей. Он садился на низенькую скамеечку, что не выше дикой утки, брал в руки топор, связанный мансийским поясом, и, устремив острый, как солнечный луч, взгляд в угол дома, где на полочке почти у потолка стояла священная голова медведя – хозяина тайги, начинал бормотать что-то непонятное. Это он говорил с богами на божественном языке. Потом его песня становилась мелодич-

ней и понятней, и люди вслушивались в таинственное предсказание богов.

В загадочном мире этой песни был и Силька. Он забывался. Он жил в мире богов, что ростом не выше беличьего хвоста. Они маленькие, но обладают великой силой. Пред ними трепещет и маленький Силька, и все манси. Он мечтает быть похожим на своего деда, который призывал людей следовать старым мансийским законам, уважать и слушаться своих богов. Они ведь так, обижены невниманием.

— А теперь, — говорил дед, — многие не признают бога, не приносят жертвы, разоряют капища, борются со священными законами.

Но это было давно, в детстве. Много изменилось. Ведь Силька окончил четыре класса школы. Правда, маловато. Не как другие. Но всё же! Много увидел он, шагая по дорогам войны от Москвы до Берлина. Теперь во многом он не согласен с дедом. Навсегда исчез страх перед богами. Но что-то всё же осталось. Может быть, уважение к деду, к его умению, таланту, как обычно теперь говорят. Ведь дед так пел, говорил, что невозможно было не верить ему. Он мог своей песней сделать глаза людей мокрыми — заставить плакать; он мог спустить солнце в глаза людей — вселить в них радость, и на земле становилось светлее и теплее. А сколько он знал сказок, преданий про древнюю жизнь людей, о том, как они родились, откуда жизнь по-

шла, как жили! Он был похожий и не похожий на других. Он овладевал сердцами людей. В его власти было и детское сердце Сильки. Это было давно. Но и теперь эта власть даёт знать о себе. Голова древнего медведя, что стоит в углу их нового дома, больше не приносит манси счастья и удачи в жизни. Она только ссорит Сильку с Настой. Наста не хочет, чтобы шайтан жил в их доме. Человек сам всё может. Не нужны ему шайтаны.

И теперь, перебирая в памяти бывшее, копаясь в своей душе, как запутавшийся в сети, он вдруг увидел свою обыкновенную Насту необыкновенной. Ведь теперь к ней ходят люди, а не к шаману. Она вылечивает их от недугов и болезней. Возвращает песню молодым, а старым улыбку. Уколет длинной блестящей иглой – и больной начинает выздоравливать. А раньше при такой болезни люди умирали. Шаман был бессилен. Зато он красиво говорил и обещал. А Наста вылечивает. Раньше было много слепых. А теперь и не встретишь, как комаров зимой. Сколько их вылечила одна Наста! Наста действительно всё может. Она действительно необыкновенная. Почему необыкновенная? Обыкновенная. Таких теперь много.

Теперь все обыкновенны: и Наста, лечащая людей, и буровой мастер Урусов, нашедший в наших краях «огненную воду» – нефть, да и герой Гагарин, летавший в космос. Он ведь тоже обыкновенный человек. Совершил чудо. Раньше, когда

верили богам и идолам, таких чудес не слыхивали и не видывали.

Теперь верят человеку – и чудес становится больше и больше.

Раньше Силька не поверил бы, что человек может полететь на Луну. И вот Гагарин заставил Сильку верить в это. Теперь он знает, что скоро другие полетят до самой Луны, а потом и дальше. Чудес стало много. И теперь никого не удивляют электричество в домах, радио на мансийском языке, гудящие железные нарты, поезда, или даже капроновые сети.

А ведь совсем недавно сам Силька ахал: обыкновенная сеть, похожая на мансийскую, но не гниёт в воде, не надо сушить каждый день! И рыбачить стало легче. Теперь у Сильки, как у многих других, моторная лодка. Быстрее самых быстрых рыб мчится его лодка по полноводной Оби. И никто не удивляется: все так быстро ездят. Теперь уже Силька мечтает о крылатой лодке, которая неслась бы по воде бегущею гагарой. Такие лодки, ракеты, уже летают по Оби, пассажиров возят.

И люди стали теперь другими. Много они умеют и знают. Когда-то его дед, самый умный и многознающий манси, не смог вылечить своего сына – он умер от простой простуды, – а вот На-ста, мансийка, умеет. Великий шаман, придумывавший всякие чудеса, не умел летать, а сын бывшего батрака маленький Епа стал лётчиком реак-

тивного самолета, летает выше самых высоких облаков, дальше самых дальних морей. Мудрый дед не умел изобразить ум на бумаге, а теперь это умеет делать даже Силька.

Наста обыкновенная. Простые люди стали делать необыкновенные вещи. Такой уж век. А дед действительно был не таким, как все. Он наводил страх на людей, они дрожали, как на морозе, слушая его священные речи, делали так, как он скажет. За это он брал с них и соболя шкурки, и мясо...

Пел он красиво для того, чтобы не опустела его лесная избушка, стоявшая на лосиных ногах, чтобы сытым быть, как осенний гусь.

Кто теперь так делает? Никто.

Наста лечит людей для того, чтобы не ходили по земле болезни, чтобы люди были здоровыми и жили бы счастливо.

Дед и Наста – совсем разные люди, как луна и солнце. Солнце светит и греет. А от луны лишь холодный, обманчивый свет.

Соболь ходит по лесу. Соболь – зверь. Он от Сильки уйдёт. А люди от Сильки уходят. Соболь такой же, как и сто, может, тысячи лет назад. Только люди стали другими. Теперь нельзя так жить, как жили прежде. Старые, может быть и не понимают. Держатся за свои старые привычки. А Силька ещё не старый, нет ему ещё и сорока лет. Надо начинать жизнь сначала. Это понимал Силька и раньше. Но привычки, обычаи дедов...

Не хотелось обижать своих стариков. Теперь всё. Из двух надо выбирать одно: или Наста, или старое мансийское имя, честь.

Наста тоже мансийка, а у неё новое доброе имя, за хорошее отношение к работе, к людям манси её любят и уважают, почти все манси. Русские говорят: «Наста новая, хорошая мансийка. Высоко несёт она честь советской женщины».

У Насты есть новое имя и честь. А Силька держался за старое. Был настоящим старым манси и новое не отрицал. Почитал шайтана и верил в коммунизм. А теперь вот Наста задала задачу.

Сразу не разберёшься. Есть мороз и тепло, есть добро и зло. Всё же больше добрых. Тяжело. А то было бы тяжелее. Соболь от человека может уйти. А человек без человека не может жить. Если уйдёт один – другие будут рядом. Только без Насты Силька всё равно не проживёт, как манси без рыбы, как рыба без воды. Нет! Манси всё же проживёт и без рыбы. Но какая это жизнь! Силька так не может.

Вот возьмёт он топор и разрубит злого шайтана; наверное, тогда Наста вновь к нему вернётся. Но не разрубит он веру древних манси. Топором лишь сердце можно разрубить. Разрубишь сердце – кровь струёю брызнет, и польётся злоба. А там, где льётся злоба, правду трудно отыскать. Просто он снимет с полки чучело шайтана и поставит его на колючий мороз. За любовь разбитую

пусть мёрзнет под ветром, за вековой обман пусть занесёт его снегом.

Коли древний верующий человек найдется и этого идола «счастья» унесёт к себе, Силька не будет злиться. Но нет! Так очень долго придётся человеку жить в самообмане. Надо ему раньше глаза на мир раскрыть. Здесь нужно лишь слово, что сердечней сердца и прямой стрелы. Силька мало знает таких слов, не умеет, как дед, острым словом убеждать людей. А надо знать!.. Надо ехать в своё село родное. Там народу много, как в тайге деревьев. Где народу много – там и ума больше.

Надо к Насте ехать! Надо поучиться! Надо жить по-новому.

Камень... Нет, Силька не камень! Просто он запутался... Ты слышишь, как воет выюга? Не скоро утихнет выюга... И попробуй в такую погоду отыскать дорогу.

В медведя слепо верил и в коммунизм шёл... А мать прозорлива: «Какой ты коммунист, коль в медведя веришь?! И старую честь позволил растоптать, – какой ты манси?» Кто же тогда Силька? Одно, наверное: Куль!.. Нет уж, Силька не камень! Тем более уж не Куль!

К Насте надо ехать! В будущее ехать! Между двух огней человеку не ужиться!

И Силька уехал. Запряг оленей – и уехал!..

Урок

*Отец мой, правду сказать,
Книг не умел, читать,
Отец мой за жизнь свою
Не научился писать.
Не потому ли мне
Стало от книг светло?
В книгах сердце мое
Крылья себе нашло.*

Школьный звонок... Кто не знает этого волшебника!

Он запоёт — и не летят снежки. Молкнут шумные голоса. Всё преображается. Голосистый волшебник уводит ребят в новый, неведомый мир...

Над тайгой и тундрой звенят колокольчики, как в школе. Но они зовут не в класс, а лишь говорят, как много оленей у людей.

Я никак не могу привыкнуть к этому богатому неумолчному перезвону. Наверное, скучаю по волшебной тишине, которая воцаряется в классе после звонка.

В каслании, где на каждом шагу загадка, а новости говорит только ветер, где каждое дерево кажется живым и думающим, урок приходится вести по-особому. И обычно у костра.

На обугленной перекладине висит котёл чернее тёмной ночи. Его кусают красные лисицы. Котёл шипит, дымит паром... Ноздри щекочет запах свежего оленьего мяса. Вокруг костра сидят

оленоводы. Они смотрят на пляску красных лисиц, греются их тёплом и слушают шипение котла.

В эту музыку осторожно вплетаю свои мысли.

Тёте Сане я подсовываю мансийский букварь.

– Са-ли...¹² – произносит она. Широкие глаза её, как два щенка, смотрят удивленно. – Са-ли... И правда, подходит! – восклицает она торжественно, словно наконец-то поймала самого непокорного оленя, самого быстрого, стройного.

И она поёт, как песню: «...Сали, сали, сали...» – и показывает на оленя, изображённого в букваре.

– Ворт-олнунт¹³ – читает она по слогам.

Раньше она не смела назвать медведя по имени. А теперь читает...

Шипит котел, дымится паром. Прыгают красные лисицы. Трещит костер. Пламенеют лица... И, может быть, ярче всех узкое лицо Микуля. Глаза у него сегодня особенные. Словно два растаявших озера с обеих сторон одной сопки смотрят на меня.

А ещё недавно они были ледяными, насмешливыми.

Мол, зря ты решился каслать с оленеводами: учителю в стаде делать нечего. Олени не станут смотреть в бумагу – им надо щипать сочный ягель. Коротким, птичьим сном спят оленеводы. Листать

¹² Сали – олень.

¹³ Вортолнунт – медведь.

книгу — отдать волкам лучших оленей. Мало у людей времени. А ты их хочешь отвлекать... .

Так был настроен Микуль — наш бригадир. Время действительно словно бежало. Часто спали под открытым небом, ели сырое мясо, мёрзлый хлеб... Лишь горячему чаю уделяли немного времени...

Теперь стоянки стали продолжительнее. С неба дольше не уходит самый светлый человек, самый жаркий человек — солнце. И свободного времени теперь стало больше. Можно посмотреть, как бегают по ветвям самый быстрый олень — быстرونгий ветер; можно послушать пение птиц и жаркий разговор костра.

Теперь Микуль чаще задаёт вопросы. И я рассказываю о древних греках, о горе Олимп, состязаниях, играх...

Потом я показываю ему учебник истории. Он листает книгу, читает, смотрит картинки, удивляется и снова задаёт вопросы. И слушает, и все слушают о далёком, невозвратном времени...

Я рассказываю о климате Греции, о вечном лете, об одежде, которую носили древние грека. Все удивляются, что есть где-то другая земля, непохожая жизнь...

И всё же наша земля лучше, богаче! — говорит Микуль. — И снег, и белые ночи... А сколько в реках рыбы, а в тундре — оленей! А сочная морошка, кедровые орехи!..

...Нельзя слушать сразу двух шаманов: острый ум тупей земли станет. Нельзя класть щуку рядом с осетром: дети не будут слушаться, люди не будут слушаться – так говорят в народе. Поэтому, быть может, Микуль при людях со мною спорит, говорит, как лось с лосёнком. Все должны видеть: бригадир много знает и лучше всех умеет не только брать оленя за рога, но и говорить с книгой. А когда нет никого, Микуль меня слушает, словно сам читает. С некоторых пор он стал брать меня с собой пасти оленей. С некоторых пор он стал меня слушать...

...Как перевести в четвёртый класс Йикора? Он не признает учебников. Мол, по ним пусть учатся ровесники оленят. А он только газеты читает да журналы смотрит. «Надо этот интерес учесть», – думаю я.

– Давай расскажу эту статью. Она интересная, – говорит Йикор.

Со мной он говорит только по-русски. И на ломаном русском языке начинает пересказывать содержание фельетона, прикрашивая его мансийскими сравнениями. И фельетон становится ярче. Потом Йикор пишет изложение. Я правлю его ошибки. Их много. Йикору нравится переписывать правленные слова...

Занимаюсь я и с Итьей Татъей. Хотя с ней мы занимаемся по обыкновенной программе десятого класса и мне не надо выдумывать особенной ме-

тодики, но и с ней трудно: она единственная девушка в нашей бригаде. Когда на меня смотрят чёрные глаза Итьи Таты, сердце стучит, а голос, как колокольчик, звенит.

Самый любопытный, самый прилежный ученик – Епа. Ему девять лет. Но он уже пастух.

Плохо оленеводам без собак. Особенно когда нужно ловить оленей. Собаки останавливают стадо. Не дают сбегать оленям с поляны, где их ловят юрким тынзяном.

Но не всегда ведь можно лаять. Дурным лаем можно разогнать оленей. Собаке ум нужен, собаке глаз нужен. Чтобы собаки лаяли вовремя, гнали оленей в нужном направлении – это обязанность Епы. И он с ней хорошо справляется: и собаки умно лают, и не разбегается стадо!..

Епе девять лет. Но он ещё не учится в школе. Он, конечно, очень хотел бы слушать песню волшебного звонка. Но Яныг-турпка-эква не хочет отдавать его в школу.

– Я его вырастила, я и буду учить, а не ваша школа, – так сказала она.

А теперь вот Епа уже читает по слогам. Не оторвёшь от букваря. С ним он даже спит... Я рассказываю ему о светлых классах школы, о кино, телевизоре, теплоходах и космических кораблях... И Епа мечтает учиться в настоящей школе. А бабушка Яныг-турпка-эква смотрит на

нас пристально. Не говорит ни слова. Только трубку свою сосёт и плюётся.

Молчит и Вун-ай-ики. С тех пор как ушёл Силька, он молчит, словно камень, и редко выходит из чума... Глаза его смотрят глазами оленя, когда земля покрыта ледяною коркой. Много у Вун-ай-ики есть своих оленей, много есть колхозных.

Много, много мяса есть у Вун-ай-ики. Вун-ай-ики сыт. Так почему же Вун-ай-ики смотрит глазами голодного оленя?!

– Хочет стать бумажным, – ехидно смеётся Окра над своим мужем. – Скоро в бумажных кишах ходить будешь – до чего доучишься!

Круглое лицо её румяное и розовое, как закатное солнце. На приплюснутом, словно обрубленном, кончике носа жёлтыми цветочками горят веснушки. А голова её – как лохматое воронье гнездо. Она кажется седоватой от прилипшей к волосам шерсти.

Я смотрю на Окру и думаю: «Такая молодая (ей всего двадцать семь лет), а мыслит, как старуха! Как к её сердцу найти ключи? Как вырвать её из цепких рук Яныг-турпка-эквы?».

Я уже знаю, что она родилась в каслании, и росла вместе с оленями, и никогда не жила в деревне, и не слышала волшебного звонка новой школы... Поэтому, быть может, узор из лягушечьих лапок, который она осторожно выводит тоненькими лоскутками сукна на блестящем меху, ей кажется красноречивей букв и мудрее книг.

Окра только их читает, а на меня кидает колючий свет своих раскосых глаз.

Нет, Окра совсем не злая. Она по-своему добрая. Если ворчит, как лягушка в пруду, то только потому, что она женщина, имеющая детей, женщина, занятая важными делами. До пустой бумаги ли ей! «В бумагу не оденешься, ею сыт не будешь!» – так она рассуждает.

...Бедная Окра, древняя Окра... Как к ней подойти? Как увлечь её в наш мир? К тётке Сане, кажется, я подобрал ключи... Надо искать пути и к душе Окры... Надо искать, думать.

Это интересно! В нашей необычной жизни, когда рядом кочуют синие ветры, столько нерешённого, загадочного!..

Переправа

*Солнце встало, свет деля.
Снег подталый пьёт земля.
Заплывает кедр смолой,
Тает, тает лёд резной.
Крыльев уток слышен свист,
Воздух чуток, свеж и чист.
Лёд-преграду речка рвёт...
Что за радость настает!*

«Хал-хал, тень-тень, хал-хал, тень-тень»¹⁴, – это голосистые гуси поют песню радости, песню

¹⁴ «Хал-хал, тень-тень, хал-хал, тень-тень» – «С южной земли, теплой земли на дорогую землю, родную землю мы прилетели» (песня гусей).

счастливого возвращения на родину. Они цепочкой серых бус тянутся над тайгой. Любуются не налюбуются голубыми глазами озёр, синими лентами речек, зелёными руками кедров. А небо плачет счастливыми слезами весеннего дождя. С зелёных ресниц слезу радости смахивают и старые лиственницы, и молодой тальник, под которыми выют гнёзда гуси. От нахлынувшей нежности снег размяк, а лёд стал рыхлым, зазвенели ручьи, и вздулись реки.

«Тень-тень-тень», – поют лужицы под каплями дождя. «Тень-тень-тень», – поют уже широкие береги последней большой реки.

«Хал-хал-хал», – поёт рыхлый лёд под копытами оленей.

– О-о-о! – поют пастухи. – Быстрее надо переправить стадо, пока река не раскрылась до конца...

«Пуш-пуш-пуш...». Тонут три оленя. Их уже не спасти: попали в полынью...

«Пуш-пуш-пуш». А не утонем ли и мы?

– Э-э-эй! Надо быстрее переезжать!..

«Тюр-тюр-тюр», – поют сани в воде.

«Сюр-сюр-сюр». Мы по пояс в воде.

«А-на-на!». Не уплывут ли дети?

Нет, дети не уплывут: впереди едет сам Микуль. Если что, то сначала его не будет.

«Пуш-пуш-пуш...». Олени фыркают в воду. Мы уже на берегу. «Сюр-сюр-сюр». С нас стекает вода...

«Ого-го-го-го-о-о! Ха-ха-ха-ха, хи-хи-хи-хи!». Летят в лица мокрые снежки, бусинки брызг, купаются олени, купаются люди. Смеются в нартах дети... Как из мокрого корыта, вытаскиваем мы их. Стрелами летят снежки, струями – брызги. Купаются олени, дети, пастухи, – у нас сегодня праздник: перешли большую реку, недалеко Нёр-ойка, старик Урал...

Уже пылает костёр. А рядом ставят чумы. Хорошо! Вымокли хлеб, сухари, сахар. Плохо.

А были бы дюралевые ящики в нартах, какие есть у оленеводов Чукотки, – продукты были бы сухими. И нарты были бы легче. Людям хорошо, и оленям неплохо! Правильно подметил это Арсентий в Магадане на совещании оленеводов! Правильно твердил об этом деле Арсентий! Председателю надо было прислушаться...

Красный чум

*Может быть, живём мы скромно,
Но имеем дом огромный,
Несравним он с чумом душиным.
Наш богатый дом радушный
Выше туч и шире моря.
Мы живём, поём, и вторит,
Вторит дом наш громким эхом,
Полон дом наш юным смехом...*

На берегу светлой, словно бусинка, реки стоянка будет дольше. Здесь мы решили начать новую жизнь...

Микуль и Йикор уже ставили чум. Вун-ай-ики вынимал из нарт шесты. Наверно, они с Ай-отом поставят свой: тесно всем в одном чуме. Мирились с теснотой, когда нужно было непрерывно двигаться со стадом вперёд, к старине Уралу.

Я попросил брезентовую палаку. Микуль удивился.

— Что это вы задумали? Ведь Вун-ай-ики специально свой чум ставит, чтобы было посвободнее. Кто же в нашем чуме останется?

Но палатку дал.

Мы с Арсентием принялись за дело. Пригодились навыки, полученные в туристских походах. Ставить палатку помогла Итья Татья. Она вносила какой-то задор, вдохновение. Узкие брюки, заправленные в резиновые сапожки, тёмно-синяя кожаная куртка, энергичные руки, летающие глаза делали её непохожей на мансийку.

Новое жилище наше получилось уютным. Посредине просторной палатки стоит стол, накрытый зелёной скатертью. На столе — журналы, газеты. Правда, они старые, вышли два-три месяца назад, и их многие уже перечитали, но всё же... В отличие от чума, в палатке светло: у нас настоящие окна. А главное — у нас говорила Москва: Арсентий отремонтировал радиоприёмник. В чуме и так мало места. Поэтому приёмник больше в нарте стоял, чем говорил новости. Мы не были уже оторваны от Большого мира.

Тётя Сана сначала сердилась, что мы ушли от них.

Она всё хочет, чтоб я был около неё. Ей приятно что-нибудь делать для меня. А я отделяюсь. И многое мне не нравится. Ей, наверно, это больно. По хмурому лицу и глазам я понял, что обидел её, хотя она не сказала ни слова. Когда же услышала музыку в нашем чуме и увидела простор, уют и чистоту, воскликнула:

– Правда хорошо. Светло!

И, кажется, подобрела. Но что-то всё же осталось.

Просто сожаление, что она не может радовать меня, как в детстве.

С этого времени по вечерам все стали собираться в нашем чуме. Разговаривали, спорили, читали книги, слушали Москву. Даже Яныг-турпка-эква приходила... Рассказывала сказки. И все слушали старушку: кто всерьёз, а кто с улыбкой.

Москва всем нравится. Тётя Сана говорит:

– Долго же у них Медвежий праздник продолжается.

Весело там жить!

Все, конечно, смеются... Странная моя тётя. Как отстала она от своих подружек, живущих в деревне! Может быть, это не она виновата, а оторванность оленеводов от жизни остальных колхозников! Виновато каслание.

В палатке живём четверо: Итья Татьяна, Ларкин, Арсентий и я. Наше жилище все зовут Красным чумом.

Не было вертолѐта – придумали вертолѐт

*Веками спали звѣзды
Над белою тайгой.
Тяжёлые ресницы
Заметены пургой;
И даже в звонких песнях
Молчали звѣзды те
И не летали в сказках
В небесной высоте.*

Над тайгой летит большая зелёная стрекоза. Олени подняли головы, наострили уши. Лают собаки. Радуются необычной птице Епа и Мань-аги. Старуха Яныг-турпка-эква поглядывает на голубое небо с опаской: грех летать над чумом, над чистыми оленями, – что-то опять будет! Арсентий, Итья Татьяна, как и я, не могут скрыть волнения: вертолѐт летает над чумом. Значит, к нам летят люди и радостные вести!.. И правда, к нам летели.

Лишь древняя старуха
Подумать так могла,
Что это злого бога
Разящая стрела.
Моя тайга в восторге,
Ей незнаком испуг,
И если это чудо,
То чудо наших рук.

Когда железная стрекоза успокоилась на небольшой поляне, летчика, секретаря райкома комсомола Ай-Теранти и киномеханика Зосима обнимали, целовали.

Бахромой платка женщины вытирали слёзы. А мужчины умеют радоваться и без слез... Не было конца радости, свежим журналам, газетам и добрым вестям, а главное – кинокартинам, которые будет показывать на живой машине, рисующей жизнь, киномеханик Зосим.

Давно мечтали оленеводы о кино. Аппарат был. Но не было киномеханика: кто пойдет каслать на целых восемь месяцев, кто оставит привычную шумную жизнь?

Долго не находили киномеханика. И тогда решили оленеводы своего выучить и послали на курсы Зосима.

Вот он и приехал. Теперь кино будет.

И в нашем Красном чуме жизнь закипит по-уральски ярко!..

Давно олени щиплют ягель. Давно они бродят по земле. И появились они на земле, наверное, вместе с людьми. А вертолёт не было: его придумали люди.

И в оленеводстве что-нибудь тоже придумают!..

Итья Татьяна

Вертолёт доставил оленеводам и продукты: хлеб, картофель, капусту, малосоленный муксун, консервы, даже лимоны.

Итья Татьяна приготовила ужин. Все собрались в нашем Красном чуме. На столе муксун, нарезанный тонкими ломтиками и аккуратно сложенный в эмалированную тарелку, дышащий паром картофель и котлеты в соусе, лимоны, компот из черешни, спирт.

И хотя скатерть заменяли обыкновенные газеты, стол получился богатым, праздничным.

— Ничего, ничего! Оказывается, тоже вкусно. И тебе надо поучиться готовить такое кушанье, — говорит Микуль, обращаясь к тётё Сане.

Тётя Сана ревниво поглядывала на Итью Татьяну.

— А что учиться тут! Надо — так я и сделаю.

Она ела больше малосольный муксун с картофелем. Видно, соскучилась по родной Оби.

— А соус-то! Соус!.. — удивлялся Ай-Теранти. — Такого нет даже в ресторане! Вот это кадры! Вот это комсомольцы! — шутил он.

Широкое, чуть скуластое его лицо расплывалось в добродушной улыбке.

Все ели с аппетитом. Благодарили Итью Татьяну. А она, как настоящая хозяйка дома, нисколько не смущалась, отвечала шутками.

С восхищением смотрел на неё Арсентий.

А я словно онемел...

Каждый раз Итья Татьяна кажется мне другой. Давно знаю её — и вроде совсем не знаю.

Была она рыбачкой...

...Над белым, запорошенным тальником жмурится скупое солнце. Слева и справа радужные круги. Это золотые рукавицы – говорят в народе. Солнце мёрзнет. Потрескивают деревья. Кажется, трещит яркий, искрящийся снег. А зарумянившееся небо словно звенит... Нет! Это звенит не небо – это поют льдинки под тяжёлой и острой пешней, пляшущей в руках девушки. Прозрачными хрусталиками ложатся они на шершавый снег... Долго не смолкает песня хрусталиков: лед толстый, местами промерзает больше метра. Еще удар – пешня устремляется вниз, вверх летят струи холодной прозрачной воды. Через мгновение они заполняют лунку. Итъя Татъя продалбливает до конца. Очищает от остатков льда. Потом принимается за вторую, которую надо продолбить метрах в пяти от первой.

То же самое делают другие девушки звена. Потом они долго-долго тянут невод. Над прорубью струится белый дым. Это мороз играет с водой. Живыми и подвижными сначала кажутся и тетива¹⁵, и ячейки¹⁶. Но через мгновение тетива леденеет, а ячейки кажутся сухими. Это их высушил своей игрой мороз...

Почему же девушки не мёрзнут? Не ледяные ли они? Может быть, и мёрзнут, и, конечно, не ледяные они. Только рыба-то нужна. Вон она пле-

¹⁵ Тетива – веревка, в которую вплетена мережа.

¹⁶ Ячейки – клетка мережи, в которую попадает рыба.

щется в мотне: и щуки полосатые, как осенняя трава, и язи тупоголовые, сверкающие солнечным светом от золотого заката, и усатые налимы со слизистыми хвостами, и нежные сырки, что серебрянее снега...

Солнце в золотых рукавицах, потрескивают деревья, звенят льдинки, струится радужный дым над прорубью – хорошая погода!..

А иногда... Луи-вот-пыг рассердится, станет злой-презлой, загудит, завертится ледяной юлой. И свищут ветры, и танцует снег...

А северянки и в такую погоду не пляшут от мороза. А северянки ловят рыбу.

Итью Татьяю я видел и на плавном песке¹⁷, когда она убирала сеть, полную рыбы, а волны кусали лодку.

Где над отмелью низкой
Обь взлетает дугой,
У рыбачки мансийской
Сеть дрожит под рукой.
И серёжки похожи
На птенцов из гнезда,
И нежней её кожи
Разве только вода.
Её брови, как рыбки,
Друг от друга плывут,
Её губы улыбку
От меня берегут.

¹⁷ Плавной песок – плёс, где устанавливают донную сеть.

Что-то скажут они мне?

Постою, подожду.

Тёмен взор её зимний,

Словно прорубь во льду.

Вот такая Итья Татьяна. Я знаю её с детства...

Я тоже был рыбаком. У меня была калданочка с разноцветными вёслами. Лодочка ходкая, но очень вёрткая: неосторожное движение – и ты в воде. Надо быть осторожным и точным, как гимнаст. Но я был уже большой – мне было десять лет. Поэтому я рыбачил, как взрослый. И все мои ровесники рыбачили. У всех были лодки и сети. Мы ловили рыбу и сдавали в план колхоза.

Калданочки наши маленькие, а Обь – река широкая: такая гладь, что небо сливается с водой на горизонте. А ветер сильный, а волны высокие. Они пенятся и шипят...

Однажды посреди Оби захватила меня гроза.

Лютым зверем лодку

Искусали волны,

Белые, как пена

На губах шамана.

Под слезами тучи,

Под кнутами молний

Бредил я, мальчишка,

Берегом желанным.

Словно рыба в сетке,

Прыгало под громом

Маленькое сердце

В бессердечных водах,
Но стремилось сердце
К берегу родному,
Где леса синели,
Обещая отдых.
И рукою слабой,
Как крыло гусёнка,
Я в весло вцепился,
Превозмог усталость
И налёт на бурю
Всей моей силёнкой,
И помчалась лодка —
К берегу помчалась...

С волнами Оби, с бурей боролись и другие ребяташки. Боролась и Итья Татьяна. Ведь тогда не было моторов, которые теперь носят лодки по волнам, словно на крыльях.

Тогда надо было грести...

Всё равно очень интересно было нам ездить на рыбалку. Часто мы рыбачили и в сорах за маленькой деревней Ситам-тур. Там жила Итья Татьяна...

Зимой мы учились в школе-интернате. Итья Татьяна тоже училась. Но из пятого класса она ушла. Ушла в родную деревню Ситам-тур. Почему она ушла? Может ей просто приснился сон?..

Белая выюга, как седой сказочник, поёт и поёт сказку. Два белых домика, как два белых оленя, по крылатые рога, занесённые снегом, мёрзнут и слушают сказку. Слушают сказку маленькие бра-

тишки и сестрёнка Итьи Татьи. Их много-много, как снежинок над домом. Они зовут её... В доме прибавится ещё одно родное сердце. Теплее будет... И сказки станут ещё веселее... А как она приедет – деревья вздрогнут и уронят на землю снег. Снежинки упадут и зазвенят, зазвенят ручьями... Всё кругом запоет: небо – голосами птиц, реки – звоном льдинок, а лес – голосом кукушки.

«Надо ехать, ехать», – решает во сне Итья Татья.

«Правильно, правильно, дочка! – говорит тихим голосом отец. – Ты окончила четыре класса. Хватит тебе учиться! Совсем уже грамотная!» И его продолговатое лицо с чуть заметными скулами превращается в белое облако и улетает в сказку...

Итья Татья ушла из школы...

Потом приходилось навёрстывать упущенное. Днём работала, а вечером училась. В каслание она взяла с собой учебники за десятый класс. Но как мне заниматься с ней, если перед её глазами я-то немею, то голос предательски звенит...

Интересные всё же люди: они каждый день могут быть новыми! Давно я знаю Итью Татью – и, кажется, совсем не знаю...

Таёжник открывает город

*Я впервые в нём... Вот летят машины,
Фары бьют огнём ярче глаз звериных.
Он глаза слепил и гудел, как улей,
Он вертел, кружил в суматохе улиц.*

Когда лес стал тёмным, как медведь, а небо покрылось бледными весенними звёздами, Зосим сказал:

– Теперь можно начинать кино.

Затрещал мотор, загорелась в палатке электрическая лампочка, но никто не бросился в палатку, все смотрели на полотнище, повешенное между двумя елями: и стар, и мал знали, что здесь появится чудо, люди, другая жизнь...

Все смотрят на Зосима как на волшебника. А он копошится у мудрой машины, присматривается. Что-то потрескивает, щёлкает.

Вдруг бледное полотнище засияло, словно зажглось дневным светом. И всё померкло: свет жаркого, яркого костра, и сияние звёзд, и влажные глаза весенней ночи...

На экране плыла сверкающая полноводная река, одетая в гладкий камень. И дома – словно каменные горы... И народу тьма, словно рыбы в море...

– И зачем столько народу собирается вместе? – удивляется тётя Сана. – На праздник какой, что ли?

– Ни травинки, кругом камни... Больно, наверное, ногам? Не с копытами ли они? – спрашивает хриплым голосом Яныг-турпка-эква.

– А это что за коромысло над Обью?

– Это мост. И река эта не Обь, а Нева, – разъясняет Ай-Теранти.

И машин много...

– Как муравьи в муравейнике...

– Кругом камни, камни... И как здесь люди живут? На экране плыл город моей юности – Ленинград. Он мне сначала тоже показался некрасивым и жестоким...

Ленинград... Мой Ленинград... Ты раскрывайся им, а я расскажу, как тебя открывал таёжник.

И свою песню мне хочется начать с извинения. Ты мне в первый раз показался жестоким и некрасивым. Да, да жестоким.

Твои улицы показались мне шумными, как сварливые старухи, они кишели людьми, как муравейники – муравьями. Я натыкался на людей. Они с удивлением смотрели на меня. И я смотрел на них. Нет, не смотрел я, а глазел. Глазел на разукрашенные витрины магазинов, на стены домов, на асфальт. В кино и на рисунках они были такими чистыми, красивыми, твои улицы, мосты, дворцы. Я так мечтал это всё увидеть!

Асфальт твоих улиц виделся мне сияющим, зеркальным. Вот, думал, как хорошо – не надо зеркала: посмотришь вниз – увидишь себя.

Я был в недоумении, почему асфальт показался в кино другим. Но однажды вечером этот секрет раскрылся. Я шёл по твоему воспетому поэтами Невскому, и вдруг, откуда ни возмись, хлынул ливень. Я прижался к стене, под навес.

– Опять небо прорвалось, – сказал кто-то рядом со мной.

– Сейчас перестанет, – откликнулся другой.

Правда, немного погода асфальт перестал пузыриться и кипеть, как котёл. Зажглись огни! И словно тысячи лун сразу осветили Невский. И асфальт сиял, как в кино. А в радужных брызгах летели такси. Их зелёные глаза – ярче глаз звериных. Всё блестело, искрилось...

Но это ещё не примирило меня с тобой, мой город!

Дома твои мне показались выше снеговых гор. И на твоих улицах я был словно в ущельях. Кругом камень, и не видно солнца, хотя где-то над домами оно лениво бродило в дымке. Я привык к другому солнцу – солнцу, отражённому в зеркальной глади воды, солнцу, дробящемуся в листьях деревьев на тысячи маленьких светил. Солнце глядело в мою постель. Оно будило меня, звало на улицу, туда, где небо звенит птичьими голосами, вода искрится, и плещутся дикие утки, и простор синий, безбрежный, и новый день не похож на вчерашний.

Такого солнца я поначалу не увидел. Грустно было, очень грустно.

Вот и автобус...

Хочешь, я расскажу мансийскую сказку?

Однажды по Оби ехали манси на большой лодке – саранхап. Было тихо-тихо. Вода блестела, как жир. Вдруг гладь воды стала гнуться и ломаться, а потом забурлила, запенилась: навстречу манси неслась гигантская рыба-зверь. Она плева-

лась струями воды и проглатывала всё, что попало на пути. Проглотила и эту лодку с людьми.

Сидят манси в животе этой рыбы и думают, что делать, как выбраться из этой тесноты. К счастью, в лодке были острые топоры. И когда прорубили люди рыбий бок, долго радовались они свежему воздуху, высоко вздымалась их груди и сияли глаза!..

Такую же радость испытал я, когда вышел из автобуса. Вот таким ты показался, Ленинград. Плохо было. Всё видел сны... Ночью ко мне являлось солнце. Оно смотрело в мою постель. И утки летели, и небо звенело, и сияла вода. А то вдруг зажигался небесный огонь – северное сияние. Оно вставало над моей головой огромным разноцветным чудом, переливаясь всеми цветами... Сияло небо, плясали краски, горел снег, потрескивал спокойный сухой морозец. Опять было хорошо, как в сказке, как в жизни.

...Но я просыпался – и сказка кончалась. В окно на меня смотрели тусклые кирпичи соседнего дома.

Однажды ты познакомил меня со своей дочерью. Она почему-то напоминала пушкинскую Татьяну. Я её полюбил ещё там, среди снегов и ярких северных сияний. Я мечтал встретить такую же. И вот она вправду явилась и повела меня по твоим проспектам, мостам и паркам.

Сразу всё преобразилось. Ожили во мне строки твоего гениального певца. И мосты повисли над водами, и Медный Всадник поскакал, и Адмиралтейская игла стала казаться светлей. И бродил я, как заколдованный самым сильным в мире шаманом.

... Эрмитаж. Я и раньше слышал об этом сказочном дворце искусства. Но как я был поражён, какие видения возникли и навсегда врезались в память, когда всё это предстало перед глазами. Словно передо мной было северное сияние – самое яркое, живое, вечно движущееся искусство природы.

...Однажды твоя дочь повела меня на Кировские острова. Я был увлечён, смотрел в её тихие смолистые глаза и не заметил, как мы очутились в зелени деревьев, среди щебета птиц и в окружении прудов. Я снова почувствовал солнце, оно с веселого пруда улыбалось мне: «Узнаёшь?» Я был благодарен ему, что оно не забыло меня и в далёком городе улыбнулось мне, как в детстве.

– А вот и пляж, – сказала моя спутница, кивнув в сторону сияющей глади воды.

Это была Нева. Она нежилась под солнцем. На берегу люди. Наверное, здесь тысячи людей. Я никогда не видел так много народу. Как чайки на песчаном берегу Оби, белели они на пляже.

– Это и называется пляж? – спросил я.

— Это и есть пляж. Здесь можно купаться. Хочешь? Не дождавшись ответа, она быстро разделась и оказалась в воде. Плыла она, как золотистый бобёр. Барахталась. От брызг — радуга. Хорошо стало. Словно я был опять на родине. И брызги летели, и солнце смеялось, и песок хрустел, и листья светились. Как хорошо! Не так уж жесток и неприветлив ты, каменный город. В тебе, оказывается, есть запах и моей родины: запах воды, солнца, трав. В тебе, оказывается, есть даже и простор: вон какая гладь — конца не видно.

С тех пор я дышал свободнее. И ты, Ленинград, для меня стал светлее и просторней...

Институт; Мойка, 48. Здесь я учился. Интересно быть студентом. Новый мир раскрывается перед тобой.

В детстве мне казалось, что рыбаки и охотники самые мудрые люди на земле. Лес, небо, медведи, соболи, олени, рыбы — это главное, что есть на земле. Моя деревня — это центр земли.

Настоящие люди на земле — манси, так же как среди светил — солнце, среди рек — Обь, среди рыб — осётр. Есть на земле народ хатань. Это татары. Есть ещё ненцы, скачущие на оленях, зыряне, привозящие из-за Урала различные драгоценности и сукна, и где-то далеко-далеко тунгусы. И есть русские... Они учат манси смотреть в бумаги и печат их.

Такое представление пришло ко мне из сказок, которые каждый вечер рассказывал мой дедушка. Как я ошибался в детстве! Каким широким оказался мир! Сколько тайн было недоступно, неизвестно для ума и сердца охотника! Он ведь хорошо знал то, что видел глазами. А много ли увидишь глазами, пусть они даже самые зоркие. И много ль земель исходишь ногами. Много снежинок на земле... Не сосчитать даже тех, что хрустят под ногами. А откуда знать мир! Он бескраен и огромен. Манси знал землю до Урала, а дальше она казалась ему сказочной, непонятной.

В школе мир широко раскрылся передо мной. И тебя, мой Ленинград, я уже чувствовал. Любил слушать песни о тебе, мечтал у тебя учиться.

И приехал к тебе. Ты познакомил меня и с ненцем, и с тунгусом, и с чукчей, и с эскимосом, и с нанайцем. Много у меня стало друзей.

Мы живём и учимся в одном доме. Тунгус такой же, как и манси. Он не нюхает пищу, а ест, как все. И ненец – хороший человек. Старая сказка, оказывается, бывает лживой. Ты помог мне распознать эту ложь.

Ленинград! Ты хороший учитель. Ты меня научил слушать сердца твоих больших людей.

Блок... Странно... Человека давно нет в живых, а я разговариваю с ним, слышу его сердце. Всю ночь мы бродим с ним. А ночь белая. И мгла, и синь, и мосты... Со мной простая книга... Это

она говорит со мной. Я волнуюсь, люблю и ненавижу, плачу и смеюсь. И кажется, я слился с этой набережной, с этой синью и с людьми. Но нет! Вон там двое. Они целуются. А я – один. И Блока нет. Со мной – книга...

Я слушал сердце Блока и чувствовал себя. Я – человек...

А что, если послушать себя, своё сердце? Я – северянин, у меня возникают мысли, которых, может быть, у других нет. Даже у Блока. А если всё перенести на бумагу? И она, быть может, заговорит языком моего маленького народа. Я стал вслушиваться в себя...

Странно... В Ленинграде, далеко от родных мест, я вдруг почувствовал красоту языка моего маленького народа.

О город каменный, ты помог нам увидеть то, чего мы не видели раньше и не чувствовали. Нет, мы совсем не перестали быть северянами. Наоборот, мы стали как-то ярче. Ты нас научил слушать себя, и мы чаще стали спрашивать: «Кто мы?»

Кто мы? И ненец Василий Лебедев, и хант Гена Райшев, и эвенк Владимир Хромов. Кто мы? Мы однокурсники. Мы – студенты. А до этого были маленькими охотниками и маленькими рыбаками. И матери, и отцы наши были охотниками и рыбаками. И, кроме этого, очень мало что знали. Студент... Наши родители не слыхали такого сло-

ва. Когда моего отца спрашивали, где учиться его сын, он отвечал: «В конституции».

Ему негде было учиться. Он батрачил у кулаков. Его проиграл в карты мой дед. Деду нечем было платить. Сыну приходилось отрабатывать... А кто же был мой прадед?

Только в самых древних сказках и песнях манси жили в дворцах из сияющего камня. Тогда умели мои предки ковать железо, сеять хлеб. Скакали на быстроногих огненных конях и пасли стада овец. Потом потеряли солнце и дворцы. Пошли искать их, забрели в тайгу и болота. Обратной дороги не нашли. Холод, снег, бессердечный людоед Менкв преследовали их, выгоняли из насиженных, обжитых мест, оставляя золу и пепел. И манси разучились ковать железо, пряхть из шерсти красивую одежду, позабыли запах вкусной еды, а стали есть сырое мясо и рыбу. В своих песнях они уже пели:

Мы уйдем, покинем землю,
Чтобы больше не родиться
И на быстрых конях-лыжах
Не скользить за соболями.
Наши лодки, как могилы,
На песках сгниют тоскливо,
И в деревнях опустелых
Будут жить одни лишь мыши.

«Будут жить одни лишь мыши», — вырвалось когда-то из истерзанного сердца моего далёкого

предка... Я – мышь? Нет! Я – человек! Так, значит, я всё же выжил! Выходит, что предки всё же верили, что холоду не вечно царствовать... И взойдет однажды не холодное, а тёплое, щедрое, разноцветное сияние. И тьма растает. И люди станут братьями.

И потому, наверно, северные женщины, завязав в берестяные люльки своих малышей, закинув их за спину, шли в болота. Туда, куда никто не доберётся... И там начинали новую жизнь.

Так много раз, наверно, умирал я, так много раз, наверно, вновь рождался, и женщины несли меня, веря, что взойдет волшебное сияние и я заговорю, раскрою сердце древних, а добрый мир будет слушать древнюю исповедь. Вот кто мы!..

А сегодня, как тепло сегодня!

Ленинград! Ты меня слушаешь? Слушаешь меня и всех моих братьев – северян. Пумасипа! Большое спасибо!

Капли рождают реку, реки рождают море, ширь и глубину. Ленинград! Твоя река стала моей родиной. И чем-то напоминает мою Обь. И я невольно шепчу:

Пусть не люльку у причала –

Ты, Нева, мой ум качала.

Крылья мне дала навечно.

О, спасибо, друг сердечный!

Схожи рек различных воды,

И добры сердца народов,

Потому я всюду дома,
Все родные, всё знакомо.

Реки сливаются. Сливаются и судьбы народов.
Жизнь становится глубже и шире... Тепло...

На твоих улицах, во встречах с твоими сыновьями, в беседе с легендарной «Авророй», с вечным огнём Марсова поля яснее и яснее чувствую, что такое Россия, Ленин, Октябрь...

О город мой! Не рассказал тебе я сказку, — ты ярче любых сказок! И не сложил тебе песню, — песня моя впереди.

Только скажу одно: ты великий учитель. Ты научил нас писать книги, рисовать картины, говорить голосом учителя перед любознательными детьми.

Ты открыл глаза нам, как младенцам. Мы проснулись, словно после тысячелетнего сна.

И олениводы нам кажутся странными, словно они пришли с другой планеты. Как они могли остаться такими? Почему мало движения в их жизни?

Преобразился ведь мой родной Север. Ярче северных сияний блещут фонтаны нефти. И в домах тепло не от дров, а от пламени земли — синего газа. И ночью ярче звёзд светятся окна — в поселках играет электричество.

Рыбаки и охотники, лесорубы и плотники, доярки и конюхи живут новой жизнью. Читают газеты, смотрят в клубе кино, веселятся и работают.

В новой дружной стае, летящей в будущее, оленеводы как белые вороны... Меня это очень волнует. Не могу быть равнодушным!

Дорогой учитель, я опять обращаюсь к тебе, как всегда в трудную минуту: разъясни мне, как быть, как по-новому устроить жизнь оленеводов. Разъясни, ведь ты всё можешь.

Ведь ты так благороден!..

Давно потух дневной свет на белом полотнище, опять ярко, как прежде, горит костёр. К его ласке льнут оленеводы. Их лица пылают светом жарких лучей. От чёрных лап елей пахнет сырой, ранней весной... Я рассказываю о великом городе.

— Неужели так живут люди? Неужели все это правда? — удивляются оленеводы. — Это просто хорошая сказка!..

Да, оленеводы пока воспринимают многое ещё как сказку. Но они откроют, откроют тебя, Ленинград, и будут благодарны, как я...

Май

Всю ночь я слышал музыку. Она звенела травами, колыхалась знамёнами и пахла цветами... Это май. В сердце — ожидание... Ожидание чего-то светлого, особенного...

В детстве, в школьные годы, мне снился май таким.

И вот, как тогда, я много раз просыпаюсь. И жду не дождусь утра. Словно у нас в каслании также бу-

дет весёлая демонстрация в колонну по четыре, со знамёнами, с медными трубами оркестра.

Чего очень ждёшь — рано или поздно придёт, наступит. Наступило и это первомайское утро.

Я вышел из чума. На просыпающемся небе — ни облачка. На реке по-прежнему синий лёд. Только забереги, кажется, стали шире. Они струились, дышали. Лужицы словно хрустальные, а земля твёрдая. Подморозило...

Где-то совсем рядом токовали глухари, радуясь солнечному майскому утру. Это праздничная песня тайги мая. А синяя речка говорила голосом чаек. Они летали над струями заберег, заливались счастливым смехом, видно, нынче будет много рыбы и для чаек, и для людей. А над чумами носились стаи уток. Они то камнем падали друг на друга, то разбегались: то ли дрались, то ли целовались. Наверно, целовались! Небо звенело. Это свадебный танец. Праздничный танец...

И я стою, зачарованный весенней песней тайги, счастливым смехом реки, свадебным танцем неба.

Стойбище уже проснулось. Посреди поляны между чумами горит костёр. Арсентий и Ларкин обтираются холодной и прозрачной водой горной реки Бусинки. Мань-аги, Епа, Итя Татья, как резвые олени, носятся по поляне. Не успели встать — уже играют. И Татья как маленькая. Что это с ней сегодня? Наверно, оттого, что праздник.

На берегу реки обыкновенная картина: Ай-от держит белого оленя тонким, как дождевой червь, тынзяном, олень мотает головой, чуя топор в руках Микуля. Топор на мгновение коснулся головы оленя, и копыта его с трепетом протянулись к зелёному небу, к голубым кедрам, к ласковому утреннему солнцу...

Кровь у белого оленя как виноградное вино. Пили её из гранёных стаканов спокойно и медленно, как жизнь, как сказку. Ай-Теранти в этот момент тоже тихо и медленно, как сказку, стал рассказывать о возникновении праздника трудящихся, о первых сходках рабочих в лесу, о красном знамени...

— А знамени-то у нас ведь нету, — тихо сказала Итья Таття.

И сразу наша поляна, наше стойбище с оленями и людьми, показалась пустой.

Арсентий словно проснулся. Он поставил свой стакан с недопитой кровью на пожухлую, прошлогоднюю траву, пробившуюся словно сквозь тонкий слой льда, и направился к чуму. Скоро он вернулся. В руках Арсентия было полотнище под цвет зари ветреного утра. Через мгновение полотнище на остром конце хорея уже плыло над нашим стойбищем.

Новое светило горело рядом с нашим древним солнцем.

Без него нам невозможно, оказывается, встретить майское утро. Это светило — наше, кровное. Даже старая Яныг-турпка-эква воскликнула, когда

взошло это необыкновенное светило: «Мана Яныг хорам!» («Что за большая красота!»)

Да, это красота жизни, красота наших сердец.

Это цвет нашей жизни. Под красный флаг становились наши отцы и братья в дни испытаний. Сегодня мы стоим. Это наше счастье!

Всю ночь я слышал во сне музыку. Она звенела травами, пахла цветами, колыхалась знамёнами, смотрела глубокими голубыми глазами. И вот настало долгожданное праздничное утро. Оно казалось совсем не таким, каким встречалось в городах. Оно неповторимое. Такое бывает только в пути, на большой, трудной дороге.

Майская выюга

*Жизнь – как битва с морозом!
Не окончена битва, не ждите!
Нет, елейный язык не сумеет
тепла отстоять!
Вы браните меня, вы лесной
росомахой рычите,
Но порывистой ветра взлечу я
над красной трибуной,
Чтобы правду свою отстоять.*

Однажды ночью вдруг разыгралась выюга. Майская выюга страшнее зимней. Привыкнешь уже к ласке солнца, звонкому полёту уток, говору весёлых ручьёв – и вдруг колючие стрелы снега, пронзительный, сшибающий с ног ветер и жгучая злоба мороза! Зимой, может быть, это было и не-

заметно. А после тёплого весеннего дождя и гогота гусей невыносимо...

И утки, превратившиеся в снежки, стрелами летят на крыльях вьюги к югу. И где-то камнем падают в снег, в прошлогоднюю траву, греются. Они верят, что мороз пройдёт. Это просто прихоть старика Урала. Скоро наступят настоящие весенние дни, и опять не будет краше края, чем милая родина.

К утру и мы продрогли в своем Красном чуме. Печки у нас не было. Потому мы грелись шутками, смехом. Возились, играли, как дети. Оледневший брезент палатки плясал, зычным голосом филина выла вьюга, а нам было весело и тепло. Может быть, это потому, что в нашем «чуме» говорила и пела Москва, а главное – мы все были молоды. Если бы хоть одна старуха была в нашей палатке, настроение было бы совсем другим, как в остальных чумах. Кто там сейчас поёт и веселится? Все подавлены и дрожат. И мы дрожали бы, если бы не отделились. Зачем старух и стариков берут в кочевье? Им уже трудно, и оленям приходится возить много лишнего груза. Сто шестьдесят оленей занято на одну перевозку. А сколько мяса нужно, чтобы прокормить всех? И получается больше мясоедов, чем пастухов-оленоводо-
вод. Незаметно шутки превратились в серьёзную беседу о проблемах оленеводства.

Итья Татьяна говорила, что главное для поднятия оленеводства – это создать новый быт: надо разрушить чумы. В них, как ни старайся, чистоты не наведёшь.

Я вот долго думала: может быть, мне жить в городе. Город большой – там много разнообразного, не наскучит. Но нас позвали в каслание, мы нужны – и я поехала. И правда, хорошо кочевать: каждый день новые места смотрят на тебя, и радостно оттого, что столько красоты на земле. А в деревне каждый день одно и то же... Только если здесь останутся чумы и эти старухи, я больше не поеду!

– А новый быт, о котором ты говоришь, кто будет создавать? – повысил голос Арсентий. – Медведицы, что ли?

– Ни один, у кого ум на месте, не пойдёт в оленеводы. Только мы, дураки! В деревне сейчас такая весна! – прорвало наконец Ларкина, который всё утро молчал.

Странно, как быстро меняются люди! В детстве он был живым, весёлым, а теперь угрюмый, как пасмурный день.

Арсентий вспыхнул, как костёр из сухих еловых веток, и заговорил горячо:

– Что, наш доктор Мария Долгушина тоже не здравомыслящая? Врачу в любой деревне найдётся работа, а она вот ездит по стадам круглый год – и не жалуется! Конечно, нелегко, зато какая бла-

годарность, какое тепло. Про тебя кто-нибудь песню сочинил? А про неё оленеводы не только песни поют – сказки уже рассказывают. Слышал сказку «Как русская девушка Агум-Варнэ-ут¹⁸ победила? Вот так-то!.. Не одним уютом живут люди!

Арсентий нахмурился и замолчал. Видно, он не хотел говорить общеизвестное, что человеку надо быть на своём месте, найти себя – тогда в самом глухом краю придёт счастье. Ибо счастье всюду есть, в каждом человеке, только его надо искать, и прежде всего в самом себе, а не ждать от других.

– Конечно, я не против уюта, нового быта, – опять спокойно, как ни в чем не бывало продолжал Арсентий. – Наоборот, я за это! Все мы привыкли жить по-новому.

И это было правдой. Я не могу жить в чуме; тяготились, наверно, и Ларкин, и Итья Татьяна... А вот Арсентий спокоен. Он живёт по-новому, может, и как все оленеводы...

– Для каслания надо приспособить лёгкие дюралевого домики. Или придумать новые световые чумы из пластмассы. Техника наша мощная, не такое может! Нужны люди, молодые, задорные. – В глуховатом голосе Арсентия звенели какие-то грустные нотки. Видно было, не первый раз он говорит это. – С кем всё осуществить? Старики ведь будут по-своему делать, а молодёжь не идёт!

¹⁸ Агум-Варнэ-ут – чудовище, посылающее людям болезни.

– А разве мы не молодые? – вдруг словно проснулся Ай-Теранти.

– Так вы побудете немного и при первом случае улетите, как птицы, почуявшие осень и ненастную погоду. За одну кочёвку всё не сделаешь!

Видно, слова эти задели Ай-Теранти за живое. В палатке будто забушевал Луи-вот-пыг – настоящий вихрь.

Это Ай-Теранти так разошёлся:

– И молодёжь пойдёт в оленеводы! Только надо по-новому организовать ведение этого хозяйства. А это нам с тобой надо думать, думать. А потом и предложить...

Лучше всего, наверное, такой способ выпаса оленей три месяца пасёт одна бригада, потом – другая. Одна пасёт оленей, другая в это время отдыхает на центральной базе. Три месяца дальней дороги, три месяца солнца, три месяца выюги, три месяца простора и воздуха, три месяца узнавания себя, три месяца романтики!

А месяцы отдыха на центральной базе будут такими полными, насыщенными воспоминаниями. А потом человек снова идёт каслать, – ведь в предыдущий раз он не всё сделал, не все свои идеи воплотил в жизнь. Много выдумки потребует от нас и даже будущих поколений наше древнее оленеводство!

В нашем Красном чуме словно теплее стало... Словно заиграли струи, прозрачные и бурные, и

таяли льдинки, и жизнь неслась в едином русле к единой цели.

А за ледяной палаткой бушевала вьюга. Но, кажется, за снежной пеленой уже вставал рассвет...

Ай-Теранти

*И пускай под топором невучим.
Застоялый рушится сосняк,
Но встаёт и цепко держит тучи
Устремлённый к небу молодняк.*

Рождается Человек. Рождается безымянным. Потом ему дают имя. И он живёт, растёт вместе с ним. Если человек плачет, плачет и его имя; если он смеётся, имя кажется ярче северного сияния.

Ай-Теранти... Маленький Теранти... Почему к имени Теранти прибавили слово «ай»? Слово «маленький»? Может быть, родители считали, что он, как и они сами, всегда будет маленьким, неприметным человеком? О, тогда они ошиблись. Очень ошиблись. Ай-Теранти – человек большой. Не беда, что он мал ростом, но сердце у него большое и крылатое. В глазах у него – лето тёплое.

Я помню его детство. Мы росли в одной деревне. Называлась она Аргинтур. Трудно было матери Ай-Теранти воспитывать детей. Но у нас на Севере все дети рано начинают трудовую жизнь. И Ай-Теранти рано начал её. У него, как и у многих других ребят, не было своей лодки и ружья. И мальчик, чтобы заработать на хлеб, помогал

другим. Он грёб, кидал невода, ставил сети, караулил на перевесе¹⁹ уток. И не раз он тонул в ледяной воде, дрожал под светом холодных звёзд, как и многие другие дети Севера.

Трудное было то время. Война докатилась и до нас. Да, у нас в Сибири не разрывались снаряды, не падали бомбы, но синие лучи стужи пронизывали нас до костей, и жёлтые лучи голода морщили наши исхудавшие детские лица. Мы оказались живучими – вместе со своими всемогущими матерями, вместе со своими отцами, сражавшимися где-то далеко с фашистами, мы выжили и победили.

Может быть, мы и не выросли бы, не набралась ума, если бы не русская учительница. Она заменяла нам мать. Она заменяла нам сестру.

Наши матери и отцы умели читать лишь звериные следы – она научила нас читать книги, и мы как бы заново увидели мир, широкий и огромный, мудрый и противоречивый. И, удивляясь, восторженно глядели в будущее. И, окрылённые мечтой, стремились вперёд.

...Много лет мы не виделись с Ай-Теранти. Он окончил среднюю школу-интернат, ту же, что и я. Как и другие северяне, он мог бы поехать учиться в институты Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Свердловска. Но родная земля потянула его к себе.

¹⁹ Перевес – сеть, которую вешают между деревьями в специально вырубленной просеке.

Нет, он не мог уехать со своей родины. Здесь плещется Обь, а Ай-Теранти – прирождённый рыбаки. Там, почти на середине Оби, качается бочка – конец сети. К ней ласться чайки-хохотуны. Они зовут в сеть и одетых в зубчатую броню богатырей-осетров, и бойких тупоголовых язей, и нежных муксунов. А где кончается плавной песок и начинается обрывистый берег с заводью, пляшут и тонут брёвна и на волнах дрожат лодки, там надо скорее снимать сеть. Это самое интересное на плаве. Один правит лодкой, другой тянет сеть. А в ней вьётся серебристый муксун. Ай-Теранти не сможет уехать, не налюбовавшись вдоволь этим плеском, не ощутив всей душой северянина такой красоты.

А рыбная ловля в разгаре.

Вот и бочка пляшет почти у лодки. Виден конец сети. Свою неизменную песню – «тра-та-та!» – запел мотор, и лодка медленно, но всё настойчивей и настойчивей ломает сопротивление течения и спокойно, уверенно набирает скорость. Рыбаки поднимаются вверх по течению, чтобы снова забросить сеть, чтобы наполнить лодку серебряным трепетом рыб.

Рыбы разные, как и люди. И кажется, многое в характере людей от рыб.

Как хорошо ступить на тёплый песок берега, после того как сдана вся рыба! Счастье! Оно наполняет весь мир. Ступишь на вечерний песок –

он от июльского солнца нежный и тёплый, усталость словно уйдет в землю, а в мышцах почувствуешь новую силу, рождённую доброй землёй. И этот июльский вечер на плавном песке покажется самым счастливым вечером на свете.

Вон горит костёр. Звёзды падают на землю. Искры летят в небо. Лишь люди неизменно остаются у костра. Там их песни, сказки и тихий сердечный разговор. Там поют сердца, там они добреют, становятся богаче. Сердца ведь тоже могут петь и летать. Горит костёр, говорят люди, говорит уха, говорит вечер...

Ай-Теранти подходит к костру, запах ухи подскажет ему, что наловили много рыбы, что в лодке есть живые стерляди. Может, вы подумаете, что стерлядь – рыба грубая. Нет, пусть она и колется, пусть она и в броне, а когда ешь её – она нежная.

Вот Ай-Теранти берёт острый нож и снимает кожу со стерляди. Он не знает, что из этой кожицы в древности его предки шили себе одежду. Не знает об этом потому, что сам ходит в модных брюках, сшитых на фабрике. О былом помнят лишь небо, вода, лес да сами рыбы. Зато Ай-Теранти знает, что перед ухой надо поесть трепещущей живой стерляди. Не просто знает – так ему хочется. Уж очень вкусна она сырая!

А лес... Зимний лес... Тайга... Тишина. Таинственная тишина. Не вспорхнёт ни одна снежинка. Стройные священные лиственницы будто оделись

в серебристую чешую рыб. Они блещут под лучами большого зимнего солнца, выглядывающего из-за белых шпилей бесконечного леса.

Белки. Огненные белочки. Какое наслаждение идти по первой пороше, по сияющему лесу и слушать мелодичную песню лайки! Вот она нашла белку. Огненный хвост не даёт ей покоя. И лайка зовёт хозяина.

Лес. Нет, он не безмолвный. Ай-Теранти умеет его читать и слушать. Вот на снегу нарисовал узоры горностаи, а вот тут сидел заяц, здесь кто-то его вспугнул – и заяц полетел, едва прикасаясь к снегу. Он так летел, что с кустов сыпался снежный бисер.

Здесь, в этих снежных лунках, спали куропатки. Они проснулись совсем-совсем недавно: помёт не успел даже побелеть и замёрзнуть. Они где-то тут рядом, не в хвое, конечно, а в кустах на берегу маленькой лесной речки. А тут лисица охотилась на мышей. Юркнула мышь в снежную норку, а лисичка и давай копать. Покопала-покопала, а мышь перебежала под снегом в другую норку. Интересно читать зимний лес. Не может Ай-Теранти куда-нибудь уехать, не поскользив вдоволь на широких лыжах по родному снегу, по родному лесу, не почуяв тайну, не услышав сказку, не может он уехать! А мать? А колхоз? А родные люди? Тут без слов все понятно. Ай-Теранти едет в свой родной колхоз.

Кем он там будет? Конечно, рыбаком. А зимой охотником. И будет лес валить он, и на оленях ездить, возить колхозу сено и, может, даже воду, и строителем он будет – всё сумеют руки, всё обнимет сердце... А для чего, вы скажете, он окончил десять классов? Для чего учился? Как для чего? А кто станет читать лекции в колхозном клубе? Он, Ай-Теранти.

Подари небу песню – она сказкой к тебе вернётся.

Подари реке силу – рыбой к тебе вернётся. Подари земле любовь – счастьем к тебе вернётся.

Сегодня я рядом с Ай-Теранти. Нас зовёт и манит вперёд одна дорога. Я слышу в сердце счастье. И кажется, от этого счастья солнце стало выше, тает снег и несмелыми горностаями выбегают из-под снега первые ручейки. А сколько там, под снегом, жизни и движения!.. Любят манси соболей, любят ханты стерлядь, любят северяне край таёжный свой. Всё там ещё не тронут. Но всё знакомо, мило. И каждая тропинка, и каждый ручеёк. Здесь качалась люлька моя берестяная; править юркой лодкой я научился здесь; здесь впервые я почувствовал и нежный трепет рыбы и человеком себя почувствовал. Как же, как же можно сюда не вернуться!

Большие дела закружили Ай-Теранти. Он секретарь райкома. Секретарь... Это слово объяснять

не надо. Каждый, каждый знает это. И своё имя несёт Ай-Теранти по жизни только с честью.

Я счастлив, очень счастлив. И горд. И не потому только, что Ай-Теранти любит лес, снег, рыбу; не потому, что живёт и трудится вместе со своим народом, но и потому, что Ай-Теранти учится. Часто в большой город ездит, сдает в институте экзамены.

...Весна жизни! Он с каждым днём всё смелей и смелей входит в тайгу. Солнце всё выше и выше! Поют ручьи. Они сливаются и шумной рекою бегут к Оби. А там раздолье! Широта и глубина. Спокойное и торжественное течение в будущее.

Ларкин ушёл к геологам

*Но найдёт к костру дорогу
Путник из таёжной чащи,
В котелке рыбак наварит
Золотой ухи дымящей,
И свои кисы просушат
Звероловы у костра!*

У нас были геологи. Целый день праздновали встречу. Они угощали нас сыром, сайрой, вином... А мы их – свежей олениной. Говорили, как птицы на рассвете, пели, танцевали.

Нет в тайге радостнее праздника, чем встречи людей! И нет горше расставания, потерь! Мы потеряли Ларкина. Он ушёл с геологами. Ему нравится эта специальность. Давно он говорил о них как-то по-особому. И вообще, какое может быть

сравнение геологии с оленеводством! Там романтика... Ушёл комсомолец... Больше всех огорчён Ай-Теранти...

Нам будет тяжело. Силька ушёл. А теперь Ларкин... Лишь Микуль и Ай-от – настоящие пастухи. Итья Татъя и Йикор – новички, Вун-ай-ики уже тяжеловат. Арсентия и меня за пастухов не считают, хотя и мы принимаем активное участие во всех делах.

Сейчас нам с ним придётся по-настоящему работать... Приближается самое ответственное время – отёл.

Хозяин тайги

Мы решили поехать в гости во вторую бригаду. В чуме остались лишь Вун-ай-ики со старухой да невестка Окра.

Долго продвигались к Уралу. Соскучилась по людям. Встретились хорошо, как в сказке.

А в чуме нашей стоянки вот что произошло. Давно потухло пламя в печке, старик курил трубку, старуха мяла ровдугу²⁰, невестка мыла блюда, а мальчик спал в люльке. Всё тихо-мирно. Даже не слышно было, как паслись олени возле родного чума...

Вдруг вздрогнула земля, застучали копыта... «Что это такое?» – заинтересовался старик. Старуха откинула шкуру, прикрывающую вход, и ахну-

²⁰ Ровдуга – мягкая, выделанная шкурка оленя.

ла: «Он идёт!» И с оледеневшими глазами бросилась в постель, прикрывшись своей шубой. Шубами укрылась невестка и старик. Под тяжёлыми шагами хрустит даже талый снег. Шаги всё ближе, ближе... Вот кто-то могучей рукой, как огромным камнем, бьёт по шкуре чума. И слышно, как шкура рвётся.

«Нет, это не человек! — думает невестка Ок-ра. — Человек к людям входит только через дверь. Онп найдет её в чуме. Так кто же это такой? Может, Менкв-великан?»

Кто-то уже в чуме. Он дышит тяжело, даже по-свистывает. Откуда знать Окре, кто это такой? Ведь она не знает, что старики не зовут медведя по имени, просто «он» величают. Это ведь хозяин тайги, древний предок манси, древний предок ханты. Его назовёшь по имени — значит, назовёшь его зверем, и медведь тогда обидится...

А зверь, бурый и большой, ходил уже по чуму, как хозяин. Он был зол и голоден. Зол на тех, кто разбудил его так рано. Он ведь мог еще спокойно лежать и сосать свою лапу. А вот разбудили. Придётся искать себе добычу. Недоспал. Голова кружится. Как пьяный. Ему теперь всё равно. Первое, что привлекло внимание хозяина, было маленькое спокойное лицо мальчика среди шкур. Может, ребёнок напомнил ему морды его медвежат? Он подошёл в молчании. Послушал, как мальчик спокойно дышит. Вспомнив, что он очень голоден,

поставил люльку на другое место, почти у входа. Запах сушёного мяса нестерпимо щекотал широкие ноздри. Медведь подошёл к мешку, подвешенному к жерди, разорвал его острыми когтями и, с жадностью чавкая, похрустывая, начал пожирать вкусное сушёное мясо.

...Старик Вун-ай-ики прожил долгую жизнь. Стал белее Кев-ики – старика Урала. Много раз падал снег с тех пор, как он родился, не знает, сколько раз таял снег с тех пор, когда он родился, много раз ходил с оленями на Урал, много волков бил. А медведя не убивал.

Молния сверкнёт и растает. А мысли ещё быстрее, а мысли ещё острее, когда над головою медвежья лапа висит: за одно мгновение в мыслях вся жизнь вдруг пролетит. Это было давно. Тогда Вун-ай-ики был молод, тогда он был строен и высок, как молодой лось; и задорен был как порывистый северный ветер.

Однажды охотники стали собираться на медведя. Старшие называли его почтительно. Ни одного худого слова о нём. Тихо собирались охотники. Шумел лишь один молодой охотник. Яковом его звали. Он хвалился своей смелостью, а хозяина тайги ни во что не ставил. Старики просили его быть поскромнее. Но он не слушался, как вьюга.

И вот тридцать человек под корень кедра смотрят. Тридцать рогатин и копий нацелены в темноту под корень. И длинный шест смотрит то-

же в темноту. Лаает-бесится собака, кусая темноту... И вдруг, как висар – вихрь крылатый, вынесся из берлоги Мойпыр. Копья и рогатины, как во сне, чуть вздрогнули, но не полетели. Дальше всех, в стороне, под ветвистой елью, стоял Яков. Никого не тронул сын хозяина Верхнего мира – Нуми-Торума, а Якова отыскал и с головы его, буйной и хвастливой, снял кожу с волосами. Но кровь за кровь! В сердце хозяина тоже торчали копыя... Сразу двух кровных «родственников» – Якова и медведя – везли со скорбью люди...

Часто в чаще непролазной
Он с медведем в бой вступал.
Перед схваткою опасной
Ноги он кривил, сгибал,
Чтобы у лесной берлоги
Твёрже встать, и оттого
Крепкие, как корни, ноги
Чуть согнулись у него.

Вот ведь как бывает. И сегодня хозяин тайги сам пришёл. Даже под тёплыми шкурами деду было холодно, даже под мягкими шкурами он, как в мороз, дрожал.

А между тем хозяин уже подобрел. Мясо уж больно вкусное. Никогда хозяин не ел такого лакомства! И захотелось ему на солнце, к свежести тайги. Острыми когтями снова разорвал чум, яркими лучами взглянуло в глаза медведю солнце. Медведь прищурился, слизнул языком вокруг пас-

ти крошки сухого мяса, увидев нарту с мягкой оленьей шкурой, забрался в неё и прикорнул...

В это время возвращался с утреннего обхода оленей пастух Ай-от – младший сын старика Вун-ай-ики. Приближаясь к стоянке, он заметил, что олени чем-то очень встревожены. Понял он, что поблизости какая-то опасность. Ай-от снял с плеча винтовку. Проверил, заряжена ли она. И, приготовившись к бою с неведомым противником, пошёл быстрее к чуму. «Что же произошло?» – думал, волнуясь, Ай-от. Почему-то чум не курил. Куда делись люди? Собаки? Вдруг Ай-от заметил на нарте что-то чёрное, необычное. Не успел он сообразить, что это такое, как, почуяв железо, поднялся на дыбы медведь и пошёл на него с раскрытой пастью. Ай-от выстрелил. Медведь упал почти у ног. Ай-от растерялся, как ребёнок. Всё произошло в одно мгновение. Даже испугаться он не успел. А потом застучало сердце, затрепыхалось в груди, как маленькая рыбка... Ай-от, как в тумане, вошёл в чум. В чуме светло, солнечно. Лоскуты шкуры свисают с жердей с отпечатками когтей хозяина. Люлька с младенцем стоит почти у порога в чум. Глаза малыша летают, как радостные утренние птички. Ай-от поражён увиденным. Малыш веселый, и никого, кроме него, нет... Странно!

– Где мама? – спросил он сына.

Вдруг шкуры зашевелились: показалась голова старика. Она стала белее белого оленя. В глазах его оледенел ужас. Ай-от не мог смеяться...

...Снег, снег, снег... Неужели разыгралась вьюга? Не может быть: ведь светит тёплое весеннее солнышко. Снег, снег, снег... Малицы белые, щёки белые, ресницы белые... По щекам струями текут слёзы. Нет, это не слезы – это на лицах тает снег. Снежки над чумом, снежки на поляне. Играют в снежки олени, играют в снежки собаки. Они носятся на поляне. А маленькая Мань-аги стоит серьезная, удивляясь, как это большие дяди и большие тёти никогда раньше не играли, а теперь играют... Снег, снег, снег... Смех, смех, смех... Начало Медвежьего праздника.

Игра игрой, праздник праздником, но надо трудиться!

Какой праздник может быть без труда? Оленеводы снимают шубу медведя, делают чучело его головы. Какой же праздник в тесноте! Решили праздник проводить в Красном чуме. Я, конечно, помогаю, и чтобы не испортить праздничного настроения, я тоже, как и все, не называю медведя по имени, не укоряю людей, что это пережиток прошлого.

Пусть будет праздник! Ведь люди потрудились на совесть: много недель не знали отдыха, кочевали к Уралу, под открытым небом, под холодными звёздами, по холодному снегу.

Жизнь без отдыха — как лось, попавший в яму; жизнь без праздника — как могила; с песнями и с плясками жизнь словно сказка!..

Пусть повеселятся, пусть покажет каждый, на что он способен. Ведь душа не может жить без крылатой песни, чудной-чудной сказки. А лекцию о пережитках я прочитаю после, когда настанут будни...

И вот на поляне перед Красным чумом горит костёр, как солнце. Над костром висит большой котёл. В нём — голова хозяина. Уже горит вечерняя заря. По небу кочуют стада звёзд. От костра к небу тоже летят звёзды, яркие и горячие. На свежавыпавшем весеннем снегу лежат длинные синие тени, а у костра пылают лица малышей. Они сегодня особенно радостные: и снежинки, и звёздное небо, и медведь, и костёр... Но они не знают, что ещё веселее будет дальше, в Красном чуме... Там затевают что-то интересное.

В самом чистом месте, посреди палатки, на столике низеньком, утиногом стоит «его» голова.

Рядом с ней чашки с печеньем, с конфетами и бутылка спирта. Медведь любит полакомиться, а пить не любит. Зато люди любят, чуть-чуть людям можно. На левую сторону, рядом с хозяином, посадили виновника — охотника Ай-ота. По правую сторону почему-то меня. Я спрашиваю: почему именно я должен сидеть? Они молчат, кивают головами: мол, так нужно. Спрашивать нельзя. Потом я узнал, что это почётное место. Раньше здесь

всегда сидел шаман. Он разговаривал с хозяином, узнавал его мысли и желания, предсказывал будущее. А теперь кто знает больше? Врач, учитель, учёный. Они разговаривают с книгами, они тоже знают о болезнях и о будущем. Вот они и должны сидеть рядом с головой.

На столике появилась большая деревянная чаша. Она дымилась, как озеро в летнее утро. И пахла не травами, не туманом, а чем-то живым, вкусным. А может, этот запах усиливается от подожжённого сэныг? Когда горит сэныг, чум наполняется ароматом, которым дышат боги... А кто боги? Кто духи? Конечно, мы! Все, сидящие полукругом на мягких оленьих шкурах: и Микуль, и Ай-от, и Ай-Теранти, и Вун-ай-ики, и Йикор, и Потёпка, все наши женщины, образовавшие по древнему обычаю свой полукруг. Вот Микуль подносит каждому большую чашу. Каждый берёт себе кусок мяса, кусок вкусной головы медведя. А Потёпка разливает спирт в гранёные стаканы и тоже раздает. Ай-от – виновник праздника. Он сидит, опустив голову, скромно и тих, как вечер. Микуль подносит ему душистые глаза. А самый зоркий глаз, правый глаз сына хозяина Верхнего мира Нуми-Торума, дали мне. Раньше давали шаману. Почему давали шаману? Шаман по-мансийски – саман. Глаз по-мансийски – сам. Самынг по-мансийски – глазастый. Самынг саман – глазастый шаман.

Рядом со мной сидит Вун-ай-ики – самый старший человек среди нас. Он больше всех бывал на медвежьих праздниках. К нему подходит Миккуль и спрашивает:

– А что делать дальше? Ты, дед, как неживой или как олень уставший. А мы на тебя надеялись, как на вожака-оленья. Что делать, мы и не знаем.

– Что делать? – слышу я глуховатый старческий голос старина. – Просто живите, пляшите, веселитесь! Я уже старик. Раньше мы много делали. Шаман был – он всё знал. Он говорил, что нас ждёт впереди, что думают духи, сам Нуми-Торум. Всё говорил. А потом мы веселились, плясали, тулыглахтысув – показывали сцены из жизни. Спрашивайте Потёпку, он больше меня, наверно, знает, всё же он... – старик запнулся, потом продолжал: – Да вы всё сами знаете. Вспомните, что помните, и веселитесь. Только не много пейте. Спирт не веселье, а болезнь. Главное-то – веселье.

Вун-ай-ики говорил тихим, глуховатым голосом. Он сидел рядом со мной, но казалось, он где-то далеко-далеко от меня. Словно не человек говорит, а журчит обмелевший таёжный ручей...

Ойнга-писинга – звенят стаканы. Чуть-чуть шумнее стало.

Вдруг... Словно налетела большая птица, распекая могучими крыльями свистящий, звенящий воздух. И вот птица уже парит высоко-высоко. Будто замерли тайга, снег и звёзды. И лица людей

сначала вздрогнули, повернулись к голове медведя. Это были звуки санквалтапа... Потёпка играл уй-тан – гимн медведю.

Я залюбовался руками Потёпки. Похожий на лодку, почерневший от времени санквалтап под его руками оказался чудом; в сторону отодвинуты куски медвежьего мяса, гранёные стаканы... Лица просветлели, как небо утром. А я почувствовал себя древним-древним, словно взглянул в душу медведю и услышал думы медвежьей головы.

...Плавно, высоко парящая птица вдруг рванулась вниз, словно ястреб, и, как утки, встрепнулись люди.

Глаза действительно пылали у всех. Может быть, ярче всего пылали у той, которая кружилась посреди чума, задевая сидящих шёлковой бахромой шали. Кто она? Ведь её глаза закрыты шалью. Наверно, это Итья Татьяна...

«У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу!» Это прибежали тулыглахтын махум²¹. Лица их прячут берестяные маски – саснёлы. Сас по-мансийски – береста, нёл – нос. У саснёлов нос длинный-длинный. Над узкими щёлочками глаз – длинные ресницы и чёрные брови дугой. Саснёлом называют и владельца маски. Саснёл может говорить всё, смеяться над всеми, даже над медведем и присутствующими.

²¹ Тулыглахтын махум – люди, участвующие в сценических представлениях.

У него ведь лицо не человеческое, а берестяное. Береста всё вынесет!

«У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу!» Вот два охотника. Они в масках, в лёгких охотничьих малицах, подпоясанные мансийскими поясами, на которых висит сипаль с большим острым ножом и зубы медведей. В руках у них ружья. Один целится вниз, себе под ноги. А... это он разыгрывает охотника, убившего зверя. Раздаётся треск, напоминающий выстрел. Второй охотник нагибается и тянет что-то тяжёлое-тяжёлое. В руках у него чучело, изображающее хозяина.

– Не я тебя убил, – говорит он медведю, – а убило тебя ружьё...

«У-ку-лу-лу! Уку-лу-лу!» Пляшут пальцы Потёпки, поют струны. Берестяные маски снова вертятся, размахивая руками, выются по полу налимами, порхают птицами...

«У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу!» Санквалтап замолкает. Входят трое саснёлов. Двое из них одеты в облезлые тонкие малицы. Это, конечно, бедные манси. А третий – с бородой, длинной и широкой, как веник. С животом большим, как у важенки перед отёлом. Он не в малице, а в шубе. Это, конечно, купец. Он достает из мешка что-то блестящее, яркое.

– Вы любите бусы? – спрашивает он голосом тёплой, ласковой речки, в которой можно утонуть.

– Это люблю не я – любит моя жена! – говорит один из манси.

– Коль любит, дай белок, – говорит купец.

Охотник протягивает пушистые шкурки.

– Вы любите колокольчики? – журчит ещё нежнее голос купца.

– Конечно! – говорит другой охотник. – Без колокольчиков тайга нема, как карась.

– На тебе колокольчиков, дай мне песцов. – Голос купца чуть слышен, словно по снегу лёгкими шажками проходит песец.

Охотник вынимает шкуры песцов, голубых, как утро.

– Нам нужен порох и дробь! – говорят оба враз.

– Пороха и дроби нет. Есть водка! Вы же любите такую водичку? – воркует купец. – Несите соболей!

Охотники несут соболей. Пьют. Пьянеют...

А теперь платите ясак – как выюга, воет купец.

– Больше у нас ничего нет! – говорят охотники.

– Тогда копайте себе яму. Буду вас хоронить, коль не расплачиваетесь!

Охотники покорно копают яму. Летают лопаты, летают земля и снег.

– Померьте, какая глубина ямы, – приказывает купец.

Один манси встал в рост – яма только по грудь.

– Надо ещё копать. А то вылезти сможете. Опять копают охотники.

Купцу уже надоело ждать.

– Больно долго вы копаете! Ничего не умеете делать, медведи и то поворотливее.

– Мы, и правда, не умеем. Покажите нам, пожалуйста, как надо правильно копать.

Охотники вылезают. А купец спрыгивает в яму.

Только он нагнулся – охотники начинают забрасывать его землей. Так и забросали. С тех пор на земле не стало купцов и хорошая жизнь пошла, как в веселый Медвежий праздник, – вот в чём смысл этой сценки.

«У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу!» Саснёлы исчезают.

Опять звенят ручьи. Женский танец. Вместо женщин танцуют ребяташки. Трёхлетняя Маньаги накинула свой платок на голову, закрыв лицо и глаза, и стала кружиться в плавном танце. Трудно удержаться на месте, когда играет музыка. Под её звуки пляшут в речке рыбы, на деревьях – белки, на земле – люди... Рядом со мной стоял радиоприемник «Родина». Я включил его. Говорила и пела Москва. Кажется, она была рядом, совсем рядом. В эти дни я словно жил в другом веке, на другой планете. Соскучился. И вот Москва... Я предложил всем послушать.

– Правильно! – сказала Итья Татьяна. – Какой праздник без радио, без новой музыки?

Все собрались у радиоприемника. Передавали концерт по заявкам геологов.

– Замечательный концерт! Геологи достойны его. Сколько богатств открыли они в нашем крае! А ведь совсем недавно он был местом холодной ссылки. Одни снега, волки, мороз.

От бедности и нищеты кому-то снилась знаменитая «золотая баба». На неё указывали римляне в XII веке, и русские промышленники говорили о таинственной «золотой бабе», а манси поклонялись Сорни-най – огненной богине. Но никто не догадывался об истинных богатствах нашего Севера.

А вот геологи догадались. И пошли сквозь дебри, болота, снега и мороз. И нашли не «золотую бабу», а черное золото – нефть, не Сорни-най – огненную богиню, а пламень земли – газ. Открыли клад, какого в мире не было. Это богатство и гордость страны! Это смогли сделать только романтики, только герои!

И кочуют они так же с места на место, любят смотреть новые земли, совсем как оленеводы, и спят они под звёздами, на холодном снегу, совсем как оленеводы. Так могут только настоящие романтики!

– Какая весёлая у них музыка! – подсаживаясь ближе к приёмнику, произнесла тётя Сана. – В Москве, наверно, тоже Медвежий праздник?

Микуль, Итья Татьяна и я засмеялись, как чайки над Обью.

«У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу!»

Прилетели какие-то две важные птицы. Одна разукрашенная, ходит гордо, как куропатка. Другая птица чёрная-чёрная, словно она только что вылетела из трубы. Это ворона. Она хлопает крыльями. Дышит тяжело. Устала с дороги. На зиму она улетает туда, где морозы помягче. Вот сейчас только, в вороний праздник, вернулась на Север.

Черномазая ходит около сороки, которая остаётся здесь. Вертится около неё, заглядывает на неё и сбоку, и снизу, танцует танец восхищения «героиней». И спрашивает с вороньим любопытством сороку-белобоку:

Всю-то зиму ты, сестрица,
Возле чумов зимовала;
Что ты сделала, сестрица,
Для друзей большеголовых?
Ей отвечает важная птица, почесывая бороду:
Всю-то зиму, всю-то зиму
Я людей большеголовых
Супом досыта кормила.
Ноги я в котёл совала,
Чтоб навар густой и крепкий
Дать родне большеголовой.
Видишь, ноги как тростинки?
Видишь, нос мой как иголка?
Это мной питалась люди,
На моих летали крыльях!..

И ходит она важно, свысока поглядывая на всех, почесывая странную бороду, как будто на самом деле северяне выжили в суровую северную зиму только потому, что питались мясом сороки. И ворона, убегаящая от настоящей зимы, поражается её героизму.

А откуда-то сверху раздались слова:

Ну-ка, люди, поищите

Вы среди своих собратьев,

Поищите и найдите

Тех клювастых, тонконогих,

Что себе в заслугу ставят

Всё, что сделано другими.

Это говорил кто-то из старых оленеводов.

Острые слова заставили людей оглянуться друг на друга: нет ли подобных «героев» среди нас? И все вспомнили Митри. Он одним летом ездил на Урал в качестве пастуха. Сколько с ним было оленеводам мучения! А когда вернулся в село, то ходил среди остальных колхозников как настоящий герой. Рассказывал истории, которые и во сне увидеть трудно.

«У-ку-лу-л! У-ку-лу-лу!...»

Что такое? Разве я ослышался? Нет!

«У-ку-лу-л! У-ку-лу-лу!» – звенит, как тоненький ручей, скачущий через камушки. Где камешек – там звонче, где песок – глуше. Голос глуховатый, женский:

Меж зеленых деревьев я по бору шагаю,

Меж красных деревьев я по бору шагаю,
Двумя сияющими озёрами я смотрю на мир,
Двумя чуткими лосями слушаю мир:
Языком озорного мальчика кто там щёлкает?
Кедры стоят, словно кудрявые облака.
Шишками они словно просмолены:
Так много шишек! Так много шишек!
На вершине кедра кто там щёлкает?
Ус-ворын-нэ – ронжа²² трещит-щёлкает.

Это посреди чума, чуть согнувшись, ходит,
напевая, старая медведица, шагает, как по родному бору. Пришла она сама, чтобы рассказать о своей трудной жизни, о своих радостях и печалях.

Все слушают её. И каждый по-своему.

Вот сидит, как скрючившаяся старая ива, Яныг-турпка-эква – мать Сильки и Ай-ота. Она не помнит, сколько зим, сколько светлых вёсен прожила на земле. Голова ее словно обросла белой берестой. Глаза её, узкие, почти бесцветные, всё же что-то говорят. Может быть, в них просто безмолвная, спокойная благодарность за то, что медведица родила первую женщину. А потом появились и настоящие люди. Время от времени Яныг-турпка-эква повторяет, чуть вздыхая: «Веселитесь, детки, веселитесь...». И сама покачивается, как старая корявая ива...

Вун-ай-ики сегодня особенно строг и молчалив. Для него медведица, наверное, воплощение

²² Ронжа – кедровка, питающаяся орехами.

истинной справедливости: она губит только тех людей, которые в чём-то провинились...

А голос медведицы льётся. Она обращается к своей подружке-ронже, сидящей на ветке кедра.

Милая кумушка Ус-ворын-нэ,
Летаешь ты на крыльях, сидишь ты на ветках,
Брось мне шишек, длинных, как кар²³
Брось мне шишек, толстых, как кар,
Бросишь мне шишки – спинной будет жир,
Долгую зиму спать будет мягче,
Бросишь мне шишки – жир будет в лапах,
Тёмную зиму веселей коротать!

Глаза у маленького Епы сияют, как снежинки на солнце. Он вспоминает лето, качающиеся на ветках смолистые шишки. Сколько раз он сам, как эта медведица, смотрел на ронжу, без труда достающую шишки с жирными кедровыми орехами с высокого кедра. Что крылатой ронже стоит сбросить шишку? И, быть может, оттого, что медведица повторила его думы, глаза у малыша сияют, как снежинки при ясном солнце... Епа помнит, что ронжа всегда ворчала, а смысла ворчанья он не понимал. А медведица всё понимает. Вот что ронжа ответила медведице:

Между небом и землёй звенит твоё имя,
Громче грома громкое имя!
Имени такого я не имею:
И то не прошу! И то не прошу!

²³ Кар – непереводимое. слово, в смысле большой.

Вот какое нынче золотое лето!

На короткую зиму можно вдоволь

Запасти утренней еды, вечерней еды!

«Вот какая хвастунишка!» – думается мне. Летать на крыльях, сидеть на ветках, шелушить орешки – много умения не надо. А легко ли бескрылому карабкаться вверх по смолистым скользким веткам? Не каждый это сможет!..

В деревне мне казался лёгким труд пастуха. Ведь оленям, думал я, готовить корма, как коровам, не надо: они сами достают ягель из-под снега. И ухода особого не требуют. Оленеводы лишь ездят на них да едят мясо.

Многие так думают, не один я. Но медведица снова обращается к ронже:

Нет у меня крыльев – я прошу у тебя в долг,

Будешь в беде – тебе помогу!..

В ответ слышится только смех:

Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха!

Имя, как гром, а просит, просит!

Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха!

И летит под ноги медведице обглоданная шишка. Возьми, ешь!

Рядом с Вун-ай-ики по кругу сидит Микуль. Он сейчас о чём-то задумался. Конечно, не о том, что медведь «Кровный родственник» и перед ним надо преклоняться. Нет! Ведь Микуль не старик! Он думает над словами медведицы. Это о жизни людей поёт она.

Что было бы со стадом, если не было бы пастуха Ай-ота, Арсентия, даже Йикора, Итьи Татьи и всех женщин! Микуль один не справился бы с оленями. Стадо разбежалось бы. И горе перед глазами стояло бы. Люди есть – сердце другое рядом, помощь всегда рядом. И нет на земле горя, когда слышишь: «Тебе помогу!»

И я думал о том же: «Медведица не попрошайничает. Она просит помощи. На рыбалке, например, у кого нет лодки, снасти, сетей, можно взять это у любого другого манси – так уж заведено извечно, никто не откажет. И даже просить очень не надо. Главное ведь – нужно ловить рыбу: она не каждый день ловится. Медведица выкладывает древние думы наших предков. Надо послушать, как они думали...»

А ронжи, оказывается, есть и среди нас, даже среди пастухов. Вон медведица близко подходит к Йикору, и едва не прикасается лапами к его улыбающемуся налимьему лицу, и, приплясывая перед ним, напевает:

Ах, чванливое животное,
Ах ты, жадная тварь, не знающая товарищества!
Был бы ты внизу—
Превратила бы тебя в шкуру,
Из которой шьют голые няры²⁴,
Превратила бы тебя в шкуру,
Из которой шьют рукавицы!..

²⁴ Няры – обувь из гладкой, выделанной кожи.

Йикор сидит на мягкой оленьей шкуре, скрестив ноги. В ответ на колючие слова он гримасничает, шевелит ушами, а веки глаз завернул и на медведицу уставился красными светилками, – даже лесная женщина отпрянула. Но продолжала петь о том, с каким трудом она вскарабкалась на кедр, настукала шишек и как дразнила её купчихаронжа, бросая под ноги ей обглоданные шишки. В песне летели проклятия...

И Йикор кривляется, не зная, куда деть своё лицо.

Татья улыбается, Вун-ай-ики сидит хмурый, опустив голову, загадочное что-то видит тётя Сана. Все слушают древнюю песню, и каждый по-своему.

А медведица пела о том, как, набравшись жиру, проспала зиму в берлоге «сном долгим и толстым, как корень», как услышала она голоса птиц и зверей и пенье ручьев, как опять хозяйкой зашагала по родным борам меж зелёных и красных деревьев и как увидела на вершине кедра чёрную пушинку. Вся она высохла. А как хвалилась!..

И кто-то шепчет: «Ты, Йикор, так же дёргаешься – вот так же высохнешь, станешь лёгким и никчемным, как пушинка!» И немолодой женский голос поёт в лад со струнами, вливаясь в души:

Что нажила я с трудом великим
Под смех твой злой и дикий,
На весь год хватило

И на весну осталось!
Не насмехайся – помогай другому:
Смех вернётся плачем,
Щедлость – весенним счастьем!..

Медведица замолчала. И все дружно захлопали в ладоши. И громче всех – Ай-от, не выдержал. Он должен был сидеть скромно и тихо, а то медведица обидится. Но сегодня все нарушали обычай. И никто не боится: медведь всё равно не слышит. И мало кто верит, что чучело слышит. А поют и справляют праздник просто для души.

«У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу!» Входит в чум какая-то женщина в красивой ягушке²⁵, в длинной шали, в берестяной маске. Идёт она вперевалячку, пошатываясь, позванивая колокольчиками.

«У-ку-лу-лу! Пася, олэн!»²⁶ – тянет пискляво, как кукушка.

– Пася, пася! – говорят сидящие, кивая головами. – Кто ты?

– Я бревно с семью отверстиями.

– Какое ты бревно? Ты человек.

– Я не человек, а ящерица.

– У ящерицы есть хвост, у тебя нет, – говорят сидящие полукругом, внимательно наблюдающие за проделками неведомой женщины.

– Хвост я отрубил. Пусть отвечает за мои проделки хвост, пусть он крутится в чужих руках

²⁵ Ягушка – шуба женская с узорами.

²⁶ Пася олэн! – Здравствуйте. живите!

до заката солнца. А у меня, коль нужно будет, новый вырастет.

– Зачем тебе хвост?

– Раньше шаманила. Ко мне ходили все олениводы. Теперь никто не ходит. Иногда и теперь потихоньку шаманю, говорю сказки. Вот и нужен мне хвост.

– Ну, если ты ящерица, пусть у тебя вырастет хвост. А, не вырастает! Никакая ты не ящерица!

– У меня-то хвоста нет, посмотрите у Яныг-турпка-эквы: у неё есть хвост, она хитрая старая ящерица...

Яныг-турпка-эква, сидевшая почти у входа в чум, побледнела, как белая ровдуга, когда её разомнут крепкие, умелые руки. Только сейчас все узнали, что под маской не женщина и не ящерица, а Йикор. Это он нарядился в женщину-ящерицу. Он, видно, решил высмеять Яныг-турпка-эква, Медвежий праздник – самый подходящий случай для этого.

Йикор-напар. Недаром к его имени прибавили слово «напар» – сверло. Всех просверлил, всех осмеял, выкрикивал самые едкие, самые низкие слова. В берестяной маске можно!..

Тут не выдержал Ай-от. Вскочил. Глаза его загорелась негодованием: так относятся к его родной матери! И кто бы! Этот подслеповатый, никчёмный Йикор. И что она сделала Йикору?

Видно было, что Ай-от готов был превратить Йикора в воду, затоптать в снег. Но идёт Медвежий

праздник. На празднике можно драться, но не кулаками, а острым, колким словом, песнею-стрелой, огненными плясками. Ай-от вышел из чума.

«У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу!» Раскачиваясь, как дерево в пургу, ввалился в чум саснёл. Ветра не было, а он качался, бури не было, а он шумел и трясся, как осина:

Йикор, Йикор, хапйив²⁷ Йикор,
Йикор, Йикор, напар Йикор,
Если каплю водки выпью,
Стану шумным, как осина,
И затреплется язык мой,
Словно шумный лист осины...

И посреди чума трепетали листья осины – разноцветные лоскутки шкур. Они летели вместе с руками пляшущего, дрожали на его плечах, болтались на ногах. Летели острые слова, дрожали, как брызги волн на Оби во время шторма...

«Что чувствует сейчас Йикор? – думал я, глядя на него. – Не скажет ли: «Нет, это не я, я не такой страшный». Или Йикору всё равно?»

Отомстив Йикору, Ай-от задумался. Всё-таки слова напара кольнули его. Доля правды в них есть – ведь из-за матери и отца поссорился Силька с красивой и любимой Настой. Родителям перечить нельзя, а жена ушла из дому.

И Силька остался один...

²⁷ Хапйив – сосна.

Ай-оту больно. Может быть, он сегодня впервые здесь на Медвежьем празднике, подумал о своей матери, о том, какие разные отцы и дети, как по-разному глядят на жизнь.

А у медвежьей головы, наверно, своя дума о жизни...

«У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу!»

Вертится саснёл, одетый в длинные резиновые сапоги и в фуфайку. Это, конечно, рыбак. Вслед за ним летает птичка тюл-тюлнэ – кулик.

– Тюл-тюлнэ, тюл-тюлнэ – какая хорошая птичка! – поёт старик рыбак.

И довольная птичка гладит свои перья, кружится в плавном танце.

– Тюл-тюлнэ, тюл-тюлнэ, ты совсем нехорошая птичка, ты кукушка, не любящая детей. Раз интернаты есть, детсады есть, мать теперь не нужна – так ты рассуждаешь, всё на государство валишь! – снова поёт седой рыбак.

Птичка замирает на месте, поникает смущённо головой.

– Тюл-тюлнэ, тюл-тюлнэ, ты хорошая птичка, весной прилетаешь, людей веселишь, радость в душу приносишь – продолжает петь старик.

И снова птичка радуется, перья поглаживает, в танце кружится.

– Тюл-тюлнэ, тюл-тюлнэ, ты сварливая птичка, как сварливая жена председателя колхоза.

– Тюл-тюлнэ, тюл-тюлнэ, ты лектор из города, говоришь монотонно, как осенний дождь, и мы уже выспались.

Тюл-тюлнэ, тюл-тюлнэ, ты совсем не птичка, ты комсомолец Ларкин. Не хочешь быть оленеводом, хочешь быть героем – геологом?..

И птичка нахохлилась, встопорщилась, как воронье гнездо...

Все долго смеялись. И над тюл-тюлнэ, и над теми, кого называл старик. Хорошо! После смеха легче на душе и тело, кажется, становится легче, словно был в жаркой летней бане.

Баня... Почему она вспомнилась мне? Только ли потому, что больше месяца я не мылся, или потому, что вспомнил слова бабушки: «Как побываешь в жаркой бане да постучишь по горячему телу сначала нежным веником, потом острыми зубьями шуки, выпустишь дурную кровь – сразу помолодеешь!»

Медвежий праздник – это совсем не праздник медведя, не религиозный праздник, как утверждают некоторые, а праздник охотников, жаркая баня с острыми словами, крылатой пляской; нежной песней, волшебной музыкой!

Последняя песня

*Никогда не ведаешь покоя.
Вечно, как метелица в горах,
Зреет в тебе доброе, лихое,
И любовь цветёт врагу на страх.
Светит солнце, над землёю рея,
Не боится солнце ничего.
Но ровесник мой душой щедрее.
Жарче солнца сердце у него.*

А вот и солнце. А рядом с ним – горы, они серебристо-синие. Кажется, они колышутся, нежно покачиваются. Это не горы колышутся – это струится воздух тёплый. Это ласкается синий ветер. В нём запах морошки и ледяных вершин Урала, дыханье вновь рождённых оленят и юных оленеводов.

...У большого камня на мягком ягеле на короточках, чуть пригнувшись, сидит Итья Татья. Грудь её круглая колышется, а чёрные глаза кажутся синими. Она словно цветок на этой поляне между скал, где стадо остановилось на отёл.

В руках у Итьи Татьи оленёнок. Он ещё мокрый. Но уже радостный и живой. Причмокивает язычком, что-то ищет губами. Только что родился, а как он хочет жить, двигаться, сиять глазами!.. А ведь станет большим, рогатым...

Молодой олень,
Молодой олень,
Тебе не лень
Бегать целый день.
По колючим мхам,
По сырой траве
Носишь ты дерево
На своей голове.
Но придёт зима,
Холода придут –
Люди в нарты
Тебя запрягут...

Оленёнок смотрит на Итью Татьяю. Глаза его смолистые, ласковые, как глаза любимого. В них нет ни высокомерия, ни лжи, ни укора. Свет их ясный, тёплый. Они греют человека в пургу. Дают ему крылья – и он летит на своей нарте, словно вьюга.

Я люблю глаза оленьи –
Полных две луны,
В них не лживое томленье –
В них отражены
Наши дали, наши ёлки,
Чистый снежный наст –
Всё, что в памяти и в сердце
Навсегда у нас.
И летит со свистом нарта
Вдаль по целине,
И возвышенней не надо
В мире счастья мне.

Итья Татьяна улыбается. И все улыбаются, как тогда, когда Мань-пыг был спасён умными руками Итьи Татьяи.

А ещё... Глаза ребёнка...
Радость в них живёт.
Взглянут – кажется, что звонко
Запоют вот-вот.
Это две рассветных птицы,
Вешних два ручья...
Хоть и не слаба – пред ними
Беззащитна я...

...Над скалами выются лучи солнца. Они садятся на заснеженную спину горы. От их ласки просыпаются, и поют ручьи и на холодных вершинах начинается жизнь.

Над оленями тучи оводов.

Когда тысячи оводов нападали на оленя и тысячи личинок буравили его кожу, ясные глаза оленя закатывались. Много оленей тогда гибло. А теперь стало меньше.

И всё это потому, что в бригаде есть новый оленевод, молодой оленевод Арсентий.

Если бы не цветная ковбойка с короткими рукавами, трудно было бы отличить его от оленей на берегу прозрачной горной речки.

Боятся его крылатые тунейдцы, жмутся к нему друзья рогатые: Арсентий их чем-то опрыскивает. Наверно, проверяет свой новый препарат.

А рядом с Арсентием – Микуль. Хотя и жарко, он всё ходит в своем синем кувсе²⁸, подпоясанном широким поясом. Он слушает Арсентия, как слушали когда-то шамана. Видно, очень хочет быть новым оленеводом! Скоро их будет много-много – ведь за это взялся комсомол района!

Ай-Теранти подберёт, конечно, самых достойных. И тогда старики останутся дома. Там, где будут стучать копыта оленей, сказки новые зазвонят...

²⁸ Кувсь – длинная рубашка с капюшопом, сшитая из сукна, надевается через голову.

А на склоне горы – тоже олени. Они цепочкой ярких бус тянутся ввысь вдоль склона. Там, почти под облаками, ходит Ай-от. Его отсюда не видно. Слишком высоко забрался он.

...Ветер и снег, колючий мороз и скользкая слякоть кочуют с оленеводом. Ночью на него смотрит небо. Внизу снег, наверху холодные звёзды. А он спит. И даже во сне не чувствует себя героем, не жалуется светилам и не требует внимания. А утром – опять дорога. И стадо движется. И жена, и дети в нартах. У губ маленьких северян морозец играет белой струйкой. Он так и скачет около малыша. Прильнёт к щеке – и она белая, прильнёт к ушам – они горят. Но малыш не жалуется и не плачет. Бегут олени, бежит дорога, пляшет мороз – и так всю жизнь!..

...Тысячи оленей в стаде. А пастухов пятеро. На земле есть злые волки. Они любят мясо. Глаз да глаз тут нужен. А чуть ослабнет внимание – и волчья пасть раскрыта, лежат рога оленя, ручей журчит у горла, и ярче зари снег...

Хищник не знает меры. Пятнадцать – двадцать зорь пылают на снегу, пятнадцать – двадцать оленей навечно припали к земле...

Но стадо оленьё растёт! А какой он, этот человек-олeneвод? Не из камня ли он вытесан, не из льда ли он слеплен, не северными ли ветрами он на свет рождён? Для меня это порою тайна...

Пока над моим письменным столом со стопкой ученических тетрадей светила электрическая лампа, а от белой русской печи струилось мягкое тепло, жизнь казалась мне яснее дня. И не было сказок и тайн... И думалось мне, что я знаю оленевода. А он оказался сложным и непонятным...

Только в каслании, только в дороге открылись мне его настоящие черты: его мужество и стойкость, его доброта, его стремление к красоте.

Снова и снова я вспоминаю нашу дорогу.

Олени бегут, бодают небо... А на рогах пляшут одни и те же светила, и не меняются зори... Таинственно кивают кедровые ветви, да сияет снег, снег, снег... Едешь ночь — конца не видно, едешь месяц — конца не видно, едешь год — конца не видно. Только тишина и снег, снег, снег... И я начинаю понимать, открывать...

Человек — тайна. Человек — сказка. Человек — неспетая песня. Песня складывается в пути...

Пойте, люди, свою песню! Выходите в дорогу!

ТАРХАНОВ АНДРЕЙ СЕМЁНОВИЧ

К новорожденному

Что ты плачешь, мальчик-крошка?
Ты пришёл в наш белый свет.
Или чувствуешь с рожденья
Свой трагический рассвет?
Мы смеёмся, веселимся.
Горько плачешь только ты.
Для тебя в руках у мамы
И конфеты, и цветы.
Мир жесток,
 И мир прекрасен.
И кому судить о том:
Может, станешь ты поэтом?
Может, станешь палачом?
Ты кричишь, дитя Вселенной,
Голосистый по судьбе.
А в углу Пророк незримый
Тихо плачет по тебе.

Исповедь человека, лишённого детства

Я в детстве почти не смеялся,
Я мачехи пьяной боялся.
Пошто она смех не любила?
Пошто за улыбку лупила?..
Люди, вы прекрасны, когда смеётесь!
Я в детстве раз десять купался.
Я в поле с утра надрывался.
Полос сорняки я, стенаю,

Я место готовил для рая.
Ой, как мне теперь хочется купаться!
Сейчас постоянно купаюсь.
Сельчанам своим улыбаюсь.
За это порой оскорбляют,
Меня чудачком называют.
Может, я и вправду чудак? Скажи, поэт?
Скажу я словами пророка:
Чудак – это истина Бога.
Уйдя от людской укоризны,
Живи, брат, по-своему в жизни.
Детство всё-таки нашло тебя.
Обними его

Орда

Сметает орда всё живое,
Всё в прах на кровавом пути.
Ни вправо, ни влево, ни в небо
От этой орды не уйти.
Горят человеки и грады,
Озёра и горы горят.
Бежит от погони Маруся
С ребёнком,
И платье до пят.

И плачет:

«Спасите нас, люди!»
Но нет ни людей, ни мышей.
Церквушка вдали забелела,
И ноги помчались быстрее.
Ни писка, ни шороха в церкви.

Один седовласый монах,
Недвижимы тело и очи, —
В гранит превратившийся прах.
Маруся — стрелою из церкви.
У речки уселась на плот.
Её понесло от пожаров,
От криков и плачей вперёд.
Марусю в скиту приютили,
К нему её плотик пристал.
Трёхлетний ребёнок не плакал,
Вздыхал,

Словно всё понимал.
Спросили Марусю печально:
«Откуда ордынцы пришли?»
Ответ из души напросился:
«Пришли они из-под земли.
Свирепые тени воскресли,
Чтоб сеять по-новому смерть,
Чтоб в пепел потом превратиться...
Так будет на свете и впредь...»
Орда скрежетала, скрипела,
Звенела, рубила и жгла;
Плодилась, жрала, гоготала...
Но сердцем мертвела орда.

Седой простор

1

Случилось это утром рано.
Вдруг всадник выплыл из тумана

На мой искристый костерок
На перепутье двух дорог.
– Юнапат, – всадник произнёс.
Пахнуло ветром дальних гроз.
Я слышу звон и гром мечей
И крики воинов-князей...

2

О, Хортобадь! – седой простор,
Романтики бескрайних дол.
В седых кудрях, печально-строг,
Глядел мой всадник на восток.
Туда туман и тучи шли,
И взволновались две души.
Там Русь в беде, – подумал я,
И боль, и гнев в груди тая.
Мадьяр, как видно, ждал зорю,
Он чувствовал печаль мою.
Раздался в небе лёгкий гул,
И алый луч вдали блеснул.
– Будь счастлив, брат! – И всадник мой
Поднял коня, махнув рукой.

3

О, Хортобадь! – седой простор,
романтики бескрайних дол.
Желанный гость с реки Оби,
Недолго буду я в степи.
Мой всадник словно знак мне дал –
На звон мечей он ускакал.

В той стороне, где дом родной,
Шар поднимался огневой.
А тучи – роковая связь –
На солнце валом шли, клубясь.
В них злые конники видны:
Разъяты рты, глаза красны...
Да это войско Сатаны!
О Господи, скорей домой!
В стране идёт неравный бой.
Тушу походный свой костёр.
Прощай, степной седой простор!

**ДИНИСЛАМОВА СВЕТЛАНА
СЕЛИВЁРСТОВНА**

Я стою у окна. Потихоньку светает.
Вихрем вьются снега, все следы замечает.
Ветер хлещет бельем. Я люблюсь ненастьем.
Мне спокойно, тепло. Моё тихое счастье.

Я люблю этот мир. Здесь живут мои дети.
Мир прекрасен и добр. Солнце каждому светит.
Мысли шлю в небеса с любовью безмерной.
Я в гармонии чувств. Я – частица Вселенной.

Мысль – незримая нить. Предо мною просторы.
Моя Сосьва река, лес, Уральские горы.
Предо мною века. Из отдельных мгновений,
Четко вижу сегодня я связь поколений.

Я стою у окна. Предо мною века.
Я люблю этот мир. Вихрем вьются снега.
Я в гармонии чувств. Я люблюсь ненастьем.
Моя Сосьва-река. Моё тихое счастье.

**КАРНАУХОВА СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИРОВНА**

Воспоминания детства

Камин на кухоньке гудит,
Трещат поленья смоляные
Мы с братом на скамеечке сидим
И ждём печенки золотые
Кружочки на плите лежат
И на зубах слегка хрустят.
И это в памяти моей
Осталось до последних дней.
На лыжах мы ходить любили
До Куртовых полян,
А летом в озере ловили
Ершей и окунят.
Здесь бор стоял и сосны пели,
Весенний ветер трогал ели.
Здесь озеро светлей слезы
Ночами лижет белые пески
Моя Сибирь, земля моя
Как горько плачет по тебе душа.
Как хочется всегда твоею быть
И раны рваные любовью залечить.

СОДЕРЖАНИЕ

Шесталов Юван Николаевич

Если будет Россия...	3
Клич журавля.....	4
Синий ветер каслания.....	25

Тарханов Андрей Семёнович

К новорожденному	222
Исповедь человека, лишённого детства	222
Орда	223
Седой простор	224

Динисламова Светлана Селивёрстовна

Я стою у окна. Потихоньку светает	227
---	-----

Карнаухова Светлана Владимировна

Воспоминания детства	228
----------------------------	-----

Учебное издание

МАНСИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Хрестоматия

для учащихся 8 класса
общеобразовательных учреждений

Оригинал-макет подготовлен ООО «Югорский формат»

Подписано в печать 17.12.2015.
Формат 60х84/16. Гарнитура Times New Roman.
Усл. п. л. 14,31. Тираж 200 экз. Заказ № 42.

Отпечатано в
ООО «Югорский формат»
г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, 15, подъезд № 8
+7 (3467) 912-019, +7 952 690 99 39
Uformat@mail.ru